Список жителей Латвии в возрасте до 16 лет, депортированных 14 июня 1941 года



Рабинкина Раиса Афанасьевна	1932	Расманис Илмарс Эрнестович	1933
Рабинкина Мария Афанасьевна	1936	Ратниекс Александрс Петерович	1937
Рабинович Абрам Исакович	1925	Ратниекс Георгс (Георгийс) Петерович	1931
Рабинович Иосиф Берович	1927	Ратниекс Николайс	1934
Рабинович Ривка Беровна	1931	(Евгенийс) Петерович	1934
Рабинович Эстер Соломоновна	1928	Ратхаус Анна Херманисовна	1929
Равиньш Таливалдис Янович	1933	Ратхаус Арон Аркадий Херманисович	1928
Равиня Ирма Петеровна	1935	Ратхаус Мозус Максим Херманисович	1929
Рагайне (Рогайне) Инта Волдемаровна	1933	Раудсепа Майя Грегорьевна	1940
Рагайне (Рогайне) Майя Волдемаровна	1933	Раутенберга Визма Яновна	1938
Рагайне (Рогайне) Рута Волдемаровна	1930	Раутиня Майя Петеровна, род. в ссылке	25.07.41
Рагайнис (Рогайнис) Вилнис	1020	Рафельсон Симанис Иудович	1930
Волдемарович	1928	Рацене Скайдрите Артуровна	1940
Райбарте Ренате Яновна	1936	Раценис Гунарс Зигридс Артурович	1939
Райбартс Янис Янович	1939	Ревалде Анита Элга Паулисовна	1937
Райсин Иосиф Борухович	1938	Ревалдс Ансиа Айварс Паулисович	1940
Райсин Лев Борухович	1931	Регуте Силвия Кришьянисовна	1926
Райсина Раиса Боруховна	1939	Редерс Эрик Сергеевич	1939
Райсина Хинда Боруховна	1933	Резевска Ария Мартиновна	1934
Ракишкис Леонидс Робертович	1934	Резонга Аусма Фрицевна	1935
Раковицкая Шейна Давидовна	1933	Рейдлиха Вия Микелевна	1929
Рамане Мирдза Вильгельмовна	1935	Рейдлихс Лаймонис Микелевич	1935
Раманс Карлис Вильгельмович	1937	Реймане Зигрида Карловна	1929
Раманс Янис Вильгельмович	1934	Рейманис Луисс Карлович	1924
Ранге Айя Эмилия Эрнестовна	1938	Рейнберга Скайдрите Робертовна	1936
Ранге Велта Мирдза Эрнестовна	1928	Рейнберга Айна Робертовна	1936
Рандарс Янис Брониславович	1941	Рейнхарде Вия Екабовна	1929
Ранде Айварс Адольфович	1938	Рейнхолде Мирдза Карловна	1926
Ранде Янис Адольфович	1935	Рейнхолдс Гунарс Адамович	1932
Ранцанс Антонс Янович	1940	Рейнхолдс Харийс Адамович	1929
Раса Вия Арвидовна	1932	Рейсонс Валдис Эдуардович	1931
Раса Янис Арвидович	1930	Рейсонс Янис Эдуардович	1935

Рейсонс Имантс Эдуардович	1937	Ритума Астра Фрицевна	1936
Рейтерс Раймондс Аугустович	1927	Ритумс Андрис Фрицевич	1939
Рейхенбаха Велта Рудольфовна	1925	Ритумс Янис Фрицевич	1938
Рейхенбахс Арвидс Рудольфович	1928	Рише Лия Фрицевна	1931
Реке Айя Элза Альфредовна	1928	Рише Селита Фрицевна	1935
Реке Велта Альфредовна	1931	Робежниеце Нания Эгоновна	1934
Реке Дзидра Альфредовна	1932	Робежниеце Циедра Эгоновна	1936
Рекис Имантс Альфредович	1939	Рогайнис Улдис Аугустович	1925
Рекис Янис Янович	1938	Рогала-Рогале Инта Петровна	1936
Рекс Имантс Жанович	1926	Рогала-Рогале Рита Петровна	1941
Ренберге Айна Робертовна	1936	Рогалс-Рогалис Юрис Петрович	1939
Ренберге Скайдрите Робертовна	1936	Рождественский Юрий Георг Евгеньевич	1933
Ренкевица Мирдза Васильевна	1929	Розе Айна Яновна	1927
Ренкевицс Висвалдис Васильевич	1941	Розе Велта Роландовна	1931
Ренкевицс Леонидс Васильевич	1928	Розе Вилнис Фрицевич	1937
Ресне Бирута Мартиновна	1936	Розе Вия Фрицевна	1933
Реснис Илгварс Мартинович	1929	Розе Лия Мартиновна	1936
Рибзамена Зента Феликсовна	1925	Розе Раймондс Янович	1928
Рибицка Расма Петеровна	1936	Розена Айна Валда Волдемаровна	1938
Рибицкис Имантс Петерович	1929	Розена Скайдрите Волдемаровна	1934
Рибовский Дон Абрамович	1928	Розенберг Гецель Мейерович	1927
Риекста Элга Инара Яновна	1938	Розенберг Гита Мейеровна	1925
Риекстиньш Зигурдс Феликсович	1928	Розенвалде Зайга Хербертовна	1936
Риекстиньш Зиедонис Жанович	1939	Розениеце Инга Александровна	1932
Риекстиньш Иварс Жанович	1934	Розенс Валдис Волдемарович	1938
Риекстиня Дайна Феликсовна	1929	Розенс Улдис Волдемарович	1933
Рижикс Теодорс Станиславович	1930	Розенталберга Силвия Екабовна	1933
Рижика Герарда Станиславовна	1928	Розенталбергс Янис Хелмутс Екабович	1936
Рикмане Дайна Альфредовна	1939	Розенталь Рафаэль Леонович	1937
Римейка Астра Антоновна	1927	Розенталь Абе Айзикович	1937
Римейка Майя Антоновна	1937	Розенталь Леон Абрамович	1937
Римейка Рита Антоновна	1933	Розенталь Наум Айзикович	1935
Римейкс Валдис Антонович	1929	Розенштейнс Таливалдис Карлович	1925
Римейкс Янис Петерис Антонович	1939	Розенталс Юрис Янович	1941
Ринкинс Раймондс Конрадович	1928	Рокивилс Янис Таливалдис Янович	1925
Ритене Айя Арвидовна	1932	Ролавс Юрис Вилисович	1940
Ритере Аустра Фрицевна	1928	Романе Айя Альбертовна	1929
Ритиньш Юрис Готхардович,	1941	Романов Юрий Николаевич	1933
род. и умер в дороге	1/11	Романова Евгения (Эйжения)	1929
Ритиня Марите Готхардовна	1940	Николаевна	1)2)
Ритума Анита Александровна	1940	Романова Клара Николаевна	1931

Романова Лариса Николаевна	1926	Рудзите Дзидра Эрнестовна	1926
Романова Элвира Николаевна	1925	Рудзите Элза Яновна	1926
Романс Алфредс Паулович	1925	Рудзите Инта Карловна, род. в ссылке	15.11.41
Роне Айя Мартиновна	1937	Рудзите Ливия Аугустовна	1928
Роне Визма Кайя Карловна	1929	Рудзите Милвия Эрнестовна	1933
Роне Зайга Раса Карловна	1933	Рудзите Рута Аугустовна	1934
Роне Рита Мартиновна	1927	Рудзите Скайдрите Аугустовна	1932
Ронис Андрис Эрнестович	1939	Рудзите Велга Хуговна	1941
Ронис Аустрис Эрнестович	1937	Рудзитис Алдис Александрович	1940
Ронис Гунвалдис Эрнестович	1934	Рудзитис Иварс Аугустович	1931
Ронис Эвалдс Мартинович	1926	Рудзитис Карлис Хейнрихс Янович	1928
Ронс Марис Освальдович	1941	Рудзитис Освалдс Эрнестович	1925
Розитис Юрис Янович	1938	Рудзитис Юрис Хугович	1939
Роса Дайна Карловна	1941	Рудзиша Валентина Юлиановна	1929
Роса Лиана Карловна	1932	Рука Инта Альфредовна	1925
Росс Гунарс Карлович	1937	Рукерис Янис Карлович	1927
Росс Иварс Карлович	1936	Руллис Мартиньш Конрадович	1939
Ротшейнс Андрис Рихардович	1949	Румба Ансгарс Эдгарович	1932
Рошане Илга Карловна	1936	Румба Мария Эдгаровна	1940
Рошане Илма Эдуардовна	1926	Румбениекс Элмарс Рудолфс Екабович	1937
Рошанс Зигурдс Карлович	1929	Румбениекс Янис Янович	1939
Рошанс Янис Эдуардович	1937	Румбениекс Виестурс Янович	1940
Рояка Клара Микелевич	1930	Румниекс Андрейс	27.12.41
Рубене Айна	1925	Константинович, род. в ссылке	2/.12.41
Рубене Валда	1930	Рунце Ирена Екабовна	1937
Рубене Астрида Яновна	1937	Руньге Лигита Арвидовна	1941
Рубене Ванда Антоновна	1931	Руньгевица Хермине Язеповна	1930
Рубенис Ольгертс Янович	1926	Руньгевицс Албертс Язепович	1932
Рубенис Ромуалдс Антонович	1926	Руньгевицс Валдис Язепович	1928
Рубенис Таливалдис Янович	1928	Руньгис Улдис Арвидович	1938
Рубенис Теодорс Антонович	1938	Руника Ария Эвалдовна	1940
Рублевска Ариадна Анатольевна	1929	Руникс Янис Эвалдович	1936
Рубуле Валда Карловна	1932	Рунне Дзидра Яновна	1941
Рубуле Велта Карловна	1935	Рупнерс Юрис Эгонович	1939
Рубуле Валда Карловна	1932	Русане Дзидра Карловна	1926
Рубулис Гунарс Карлович	1933	Руска Аусма Карловна	1932
Рудане Бронислава Хенриховна	1931	Рушко Астрида Яновна	1937
Руданс Янис Хенрихович	1938	Рушко Вита Яновна	1940
Руданс Ромуалдс Хенрихович	1937	Рутка Марга Петеровна	1934
Руданс Виталийс Хенрихович	1932	Рутка Марта Петеровна	1936
Рудзе Иева Велита Кристаповна	1937	Руткис Андрис Петерович	1940
		Руткис Гиртс Петерович	1938



ЯНИС РАНДЕ

родился в 1935 году

Я Янис Ранде, родился в 1935 году в Риге. Пару лет жил в Риге, потом в Алуксне, где отец получил работу.

Итак, жили в Алуксне. Мой дед со стороны отца со своим старшим сыном, моим отцом, построил небольшой дом – в каждом конце было две комнаты и кухня. Чердачный этаж так и остался недостроенным, но впоследствии его достроил отец. Не помню, но я, кажется, на второй этаж так ни разу и не поднялся. Небольшой домик на улице Глика, 4 в Алуксне.

Отец работал бухгалтером. Работа была недалеко от дома, так что он иногда приходил домой обедать. Мама не работала. На жизнь хватало того, что зарабатывал отец. У отца был велосипед, была и лодка, стоявшая на приколе в озере Алуксне, он копил деньги, хотел купить мотоцикл с коляской, чтобы выезжать можно было всей семьей. Кажется, в том году, даже и в том месяце, когда нас выслали, он сделал последний взнос. Если бы ничего не случилось, мы катались бы на мотоцикле.

Как высылали, не помню. Стоял какой-то шум, чужие люди, но сколько их было и как было... Мне было шесть лет. 24 июня мой день рождения, 14 июня выслали.

Дорога никаких ужасов в моей душе не оставила. Мама рассказывала, что было ужасно – еды не было, воды не было. Кажется, все, что доставали, отдавали мне. Я таких ужасов не помню. Разве что передвигать-

ся было невозможно. Помнится, что было очень тесно, человек на человеке. В середине какая-то дыра, где надо было справлять свои надобности. Вначале это было проблемой, люди стеснялись. Показалось, что ехали очень долго, мучились, но как долго, не помню. Можно сейчас прочитать.

В России, где все вышли, ночь провели в огромном помещении. И снова помнится толпа людей.

Думаю, назавтра нас посадили в грузовые машины и куда-то повезли. На полпути машина застряла, шофер куда-то ушел. Только и запомнилось, что был шофер, был ли кто-то еще, не помню. Не возвращался он долго, может быть, день или дольше. И мы в той машине, в грязи, так и сидели. Потом приехали на лошадях и куда-то отвезли. Далеко ли, тоже не помню.

Привезли в село. Три дома пустовали. Специально ли их построили, не знаю, но помню, что стояли пустые дома. И почему-то мне кажется, что стекла были выбиты, проемы забиты досками. Между досок торчала пакля или что-то похожее, вероятно, чтобы не продувало. Там тоже было полным-полно народу, человек на человеке. Были там топчаны, то ли мы сами их сколотили, то ли они уже были, не помню, и на них было полно людей. В соседнем доме была такая же картина. Через какое-то время, может быть даже через год, привезли немцев с Поволжья, жили в соседнем доме.

Как жилось нам вначале с русскими ребятами, не помню, зато потом играли все вместе. Бывало, что и подеремся. Были там мальчики и старше меня. Иной раз и серьезно дрались. Сначала перевес был на нашей стороне, потом у них появлялась подмога, село было большое. Помню, что мы убегали в дом, двери наглухо закрывали. Выходили на улицу не сразу.

Что касается взрослых, то у меня сложилось

впечатление, что мужчин там не было совсем. Старики были. Командовал всеми женщинами, которым надо было ходить на работу, какой-то старик. Спустя некоторое время, в том же году или позже, пришел с

Первая зима была ужасная. В памяти она осталась как непрекращающийся, непрерывный голод. Холодно, и постоянно хочется

фронта человек без руки. Вот его и назначили то ли бригадиром, то ли начальником.

Как называлось место, куда вас привезли? Захарьинка, село Захарьинка. Это была Красноярская область, Красноярский край, Березовский район. Район был очень большой. Достал вот недавно книгу, один пишет, что тоже был в этом районе. Недалеко река Чулым. Автор книги пишет, что тоже был на Чулыме, очевидно, в том же районе, только чуть дальше.

Первая зима вспоминается как постоянный голод. Что можно было с собой взять? Мало. Большинство сосланных были горожане. А что у горожанина могло с собой быть? Вырастить тоже ничего нельзя было, приехали мы слишком поздно. Первая зима была ужасная. В памяти она осталась как непрекращающийся, непрерывный голод. Холодно и постоянно хочется есть.

Зиму пережили, а на следующий год... разве что прислали что-то из Латвии... нет, нет, в Латвии тогда еще были немцы. Вероятно, у русских достали. Копали, русские обрабатывали свои огороды лопатами, другой техники не было. Нам тоже разрешили вскопать кусочек. Посадили, что могли. Потом было, конечно, немного получше, а первая зима запомнилась как что-то ужасное.

Потом, кажется, года через два, не помню только, все ли латыши, но точно больше двух семей, переселились мы в соседнюю деревню, ближе к районному центру. Там был промкомбинат. Обрабатывали дерево, шерсть, кожи. Жили там до конца войны.

Не вспомните ли, что делала мама, когда вы переехали? Мама работала. Что она делала, не знаю. Иногда приносила в кармане или в чулке зерно. То ли латыши сами придумали, то ли русские подсказали — из жести смастерили что-то похожее на мельничку. Растирали зерно между двух продырявленных кусков жести, получалось что-то похожее на крупу. Варили. Молока, конечно, не было. И соли не было. Не очень вкусно, но есть хотелось, вот и ели...

Спичек тоже ни у кого не было, и у русских не было. Огонь кто-нибудь обязательно сохранял в печи. Если надо было затопить, выйдешь на улицу – где труба дымится, туда за угольком и бежишь. Мне даже кажется, что спички россыпью и кусочек бумажки, обо что чиркать, появились уже после войны.

Что мама делала, я не знаю. Говорила, что идет на какие-то склады. Иногда приносила домой хлеб. Но не каждый день.

Брат был совсем маленький, не знаю, почему-то я его совсем не помню, других ребят помню. Был

среди высланных такой Иварс Седлениекс... Потом я встретил даму, которая за него замуж вышла.

«А где твой муж?» – «Умер».

Так что брата я не помню. Других помню. Была там девочка, не такая уж и большая, кажется. Сколько песен она знала! Пела по вечерам, мне кажется, что пели все. Мужчин ведь не было, все женщины и подростки, и девочки тоже. Одна из них была Седлениеце, мама Иварса, в улманисовские времена в театре играла, актриса. Много рассказывала, пьесы пересказывала. Слушать было интересно.

А вы, мальчики, пытались добыть что-нибудь съедобное? В первый год приехали мы поздно. Все надеялись... Кто там мог что знать, не понимаю. Сначала немцам везло, и все надеялись – немцы победят, и мы вернемся. Может быть, поэтому ничего и не предпринимали, только меняли и меняли. Да во второй половине лета уже и нельзя... Еще и в чужом месте, всякие страхи... Мы и не умели. Когда переехали в другое село, называлось оно Павловка, многие русские.... О первом, о Захарьинке, помню только голод и холод. И редкие драки с русскими мальчиками, а здесь мы уже с ними играли. И с немцами разговаривали. Многие латыши владели немецким, помогали нам. Не помню, но говорили, что все – о русских мальчишках не помню - все немецкие мальчишки выучили латышский, и мы стали говорить с ними по-немецки. Латыши, правда, говорили, что их немецкий плохой. Они ведь давно покинули родину. С русскими ребятами тоже говорили по-латышски, но, помнится, все больше по-русски.

Когда перебрались во второе село, там начали уже что-то собирать. Русские подсказывали. Кажется, русские называли ее черемша. По-моему, даже в Риге, на Центральном рынке я ее видел. Ели ее с ранней весны. Были еще корешки съедобные – как наши лилии. Выроешь, а корень у нее, как чесночина по виду. Много их там было. Я слышал, как женщины говорили, что там растет в лесу и в поле то, что у нас в саду. Были цветы, похожие на пионы. Много. Лилии можно было есть и сырые, и вареные. Какая-то еда была.

А потом мы, мальчишки, стали охотиться. Ну, что значит – охотиться, камнями да палками зверьков подбивали. Были такие зверьки маленькие, называются бурундуки, на белку похожи. Шкурки принимали, за них что-то получить можно было.

Пробовали и рыбу ловить. На удочку. В первом селе прожили мы два года. Ребята постарше говорили, что там рыбы столько, что на голый крючок



Слева: Янис, Айварс после Сибири. Латвия, 1946 год

ловилась. Крючки мастерили сами — из гвоздя, из проволоки. Себя вот рыбаком не помню. Во втором селе текла небольшая речушка, и там ловили. Запруды делали, чтобы поймать. Раков там, кажется, не было, я, во всяком случае, ни одного рака не помню.

И вот наступил войне конец. Там видел первого русского солдата, который вернулся с войны. Все в тот дом сбежались. Он все рассказывал. Потом уж в Латвии слышали, как все на войне было. Он говорил – комиссары все вперед нас гнали, немцы в окопах сидят. Ну, я тогда еще не понимал, что такое «окопы».

Мы были в районе, где тайга кончается, а степь еще не начинается. Лесостепь, так кажется. Там-сям кусты, черемуха. Ягоды черемухи собирали, сушили. Всему этому научились у русских. Русские там давно жили, знали, что делать.

V вот он рассказывает — «немцы в окопах сидят, а комиссары нас гонят вперед. А когда добежим, немцы отступают». То же самое рассказывал нам потом, уже здесь, в Латвии, какой-то легионер. Он как выпьет, так хвастаться начинает. Я ему говорю — что ж ты так геройски воевал, или русские все умели. А он: мы стреляли, пока он у меня на кончике ствола не появлялся, а потом отступали.

И русский рассказывал то же самое. Комиссары, говорит, со спины гнали, бежать приходилось. Кто погибал, тот погибал.

К тому времени, как нам разрешили вернуться, в том селе был один здоровый мужчина, старик. Один без руки и один без ноги. Из всего села.

В школу ходил недолго. Пошел, когда было ясно, что немцы не победят. Как все об этом узнали, я не знаю, но, помнится, все думали, что, видно, на всю жизнь нам здесь оставаться. И тогда мы, латышские мальчишки, пошли учиться. В 1946 году было мне 12 лет, а я был только в 1-м классе. И не только я, но и многие русские ребята пришли в 1-й класс босиком. Помню, как учили петь «Жил-был у бабушки серенький козлик», самим шить себе какие-то тапочки. Этому я в русской школе научился.

И вот дошла до нас весть, что латышские дети могут ехать домой, в Латвию. Самим надо было добраться до районного центра, там ждала нас какая-то девушка. Ну, вероятно, не совсем девушка. Из Латвии. И поездом отвезли нас в Красноярск.

Сейчас думаю, это был какой-то пионерский лагерь или какие-то дачи, совершенно пустые дома в красивом месте. Недалеко от Красноярска есть такое красивое место, «Столбы» называется, очень там красиво. И собрали детей со всей области, только латышских детей. Запомнилась какая-то девочка, которая все время командовала, – говорила, куда идти, что делать. В Россию везли нас в вагоне для перевозки скота. Обратно ехали в пассажирском вагоне. Привезли в Латвию и поселили в детском доме.

С мамой не хотелось расставаться? Вероятно, не хотелось. Один из нас, я или брат, сейчас мог быть в Америке, так как бабушку, маму отца, не взяли, взяли только семью отца. В том же доме, во втором конце, жила папина мама, два брата и сестра – их не тронули. В Гулбене в какой-то момент двери были приоткрыты, такая щелка, взрослый бы не пролез. То ли конвоир был покладистый, то ли отошел, но бабушка подобралась к двери. Милда, говорит, оставь одного мне, я возьму, пусть останется в Латвии. А мы оба вцепились в маму и реветь – нет! Ни за что! И остались в вагоне.

Вот и сейчас не хотел уезжать, но мама уговорила, обещала, что скоро и сама приедет.

Что она говорила, не помню, но мы согласились и поехали в Латвию. Потом в детский дом приехали родственники, у кого они были. Кажется, приехали за всеми. И забрали.

И больше вас не трогали? Нет, и в 1949 году, когда многих увезли обратно, не тронули. Я учился в школе в Алуксне. Там был такой порядок, во всяком случае, в той школе, куда ходил я, – осенью, кто жил далеко, привозил свою кровать. Мы жили в семи километрах, другие еще дальше. Зимой жили в школе, в субботу уходили домой, или в пятницу,

нет, в субботу – тогда суббота была рабочим днем. В субботу уходили, в понедельник возвращались, всю неделю жили в школе.

Из нашего класса в 1949 году многих забрали, а меня почему-то не тронули.

Мама вернулась поздно. В 58-м, когда разрешили вернуться. В те годы уже можно было переписываться. Мама рассказывала, что мужчинам давали 10 лет, хотя в документах о реабилитации сказано, что отца приговорили к смертной казни. Так вот, мужчинам давали 10 лет, а женщины, которые в Сибири, сосланы были на всю оставшуюся жизнь. Пусть даже и не надеются.

А что случилось с отцом? Я помню. Мама сказала, что как разлучили у машины, так больше не видела. То ли она забыла, то ли еще что. Что было, когда машина отъехала, не помню, но мужские вагоны были где-то рядом. И в какой-то момент женщинам разрешили подойти к этому вагону с детьми. Видно, вагон был в том же эшелоне. Мужчин не выпустили, но к окошку подойти можно было. А окошко-то в товарном вагоне какое?! Отец подошел, он был не один. Четверо головы высунули, и каждый что-то кричал своим. Отец сказал: «Прощайте!» или «До свидания!», вот не помню. И еще: «Больше не могу. Каждый хочет своих увидеть».

Вот тогда я в последний раз и видел отца. Еще в Сибири маме прислали официальную бумагу, не на каком-то там листочке, а официально ей сообщили – ваш муж умер... Где-то дома та бумага хранится, кажется, написали, что от воспаления легких или от сердца, что-то такое. Умер он в 1942 году. В Челябинской области, где-то в Приуралье, там отец лежит. Бабушка, которая хотела меня забрать, лежит в Америке. Один брат отца в Америке, второй остался в Латвии, не уехал, он уже умер. После войны его судили, дали, кажется, 10 лет.

Ужасно. Это ужасная подлость и по отношению к одному человеку, не говоря уже о целом народе. Это подлость, преступление. Если он воевал против, врага берут в плен, но и тогда по отношению к пленным существуют какие-то правила, которые надо соблюдать, а тут женщины и маленькие дети, и старики.

В то время мы ведь ничего не знали, я только помню, что говорили в то время, когда уезжали немцы. Помнится только, что уезжали и какие-то папины друзья...Отец был айзсаргом – или в связи с этим, или еще почему-то, но я помню, как говорили:



Отец Адолфс

«Ади, тебе угрожает опасность, ты в черных списках, у тебя есть возможность – уезжай». Помню и его ответ: «Я ничего дурного никому не сделал, не верю, что у меня могут быть какие-то неприятности».

Когда уезжали обратно, мне было 12 лет. И все время всплывали какие-то случаи, происходившие в Латвии, это сидело где-то в подсознании. Все разговоры взрослых, женщин. Ведь не только разговаривали и пели, но и плакали, огорчались.

У вас же остались там друзья? Из того села все латышские дети уехали. И Иварс Седлениекс уехал со всеми вместе. По-моему, в том селе никого из латышских детей не осталось.

Сейчас я услышал, что в то время разрешалось уехать все детям, которые остались сиротами. То ли местное начальство не обратило на это внимания, то ли что, но из того села уехали все. Сейчас все они уже умерли.

Маму приходит поздравить председатель общества репрессированных. Каждый год приходит. У мамы почти совпадает собственный юбилей и юбилей страны. Она спрашивает: «Ты почему не ходишь на собрания?». Я никогда туда не хожу.

Отвечаю: «Я там никого не знаю». Сосланные в 1949 году находились в других местах. Из дружков, кто там был у меня, никого нет, все в Латвии умерли. С девочками в том возрасте мы не дружили. Девочки там были, помнится, бегали там девчонки, но дружить... Трое нас там было дружков, и они, по-моему, были младше меня.



НИКОЛАЙС РАТНИЕКС

родился в 1935 году

Я Николайс Ратниекс, отца звали Петерис, родился в Резекненской больнице. Мама рассказывала, что тот день был солнечный. Весил при рождении пять килограммов, быстро рос и набирал вес до самой ссылки. Брат мой всего на год младше, но на фотографии я выгляжу года на дватри старше.

Первое, что я помню, – жили в Аглоне, отец был начальником местной полиции. Вначале снимали дом недалеко от озера, у нас была лодка, помню, как катались по озеру. Брат мой родился 2 января 1937 года. Однажды мы купались. Все плавали на спине, он тоже. Ему тогда было чуть больше года. Он как лег на спину, так стал тонуть. Лежит на дне, глаза широко открыты, смотрит. Ну, к нему, конечно, подбежали...

Потом отцу, как начальнику, построили отдельный дом. Осталось в памяти 15 августа – огромные толпы народа. Масса нищих. Нам нравился хлеб, который ели нищие. И мама пекла блины, а мы ходили менять у нищих блины на хлеб. Дома мама тоже пекла вкусный хлеб.

Потом отца перевели в Малту. Запомнился 1940 год, когда из Даугавпилса в Резекне по шоссе из Малты шли русские. Нам было страшно, мы с братом прятались под большим столом. Родители закрыли в доме все окна ставнями, так как дом находился у самого шоссе. Русские собрались с плакатами и флагами встречать армию. Потом пошли небольшие танкетки, машины.

Потом американские машины с пушками. Потом солдаты.

В ноябре 1940 года отца уволили из полиции, и все сидели дома. А еще раньше отец работал в Даугавпилсе, в дорожном управлении, где и позна-

комился с мамой. В его подчинении было восемь молочных заводов, была у него корова, отличная лошадь. Отец даже участвовал в скачках. Жеребенка продал ипподрому, отличный был рысак.

В 1941 году отец не работал. 14 июня был замечательный день. Все мы встали рано, с младшим братом вышли на улицу. Отец уже бороновал. У нас было два огорода и поля. Он как раз бороновал второй огород, не помню, что они собирались сажать. Возможно даже, вовсе и не овощи, а готовили землю под сад будущего года. На нашей земле находился железнодорожный переезд, и мы с братом видели, что едут машины. Было это в пять или в шесть утра. Мы спрятались в кустах, ближе к лесу. Машины проехали мимо нас и подъехали к дому. Было две машины – ЗИС-5 и «газик». На крыше стоял пулемет, возле него солдат, в каждой машине были офицеры. Выскочили и бегом к дому. Это и отец видел. Возможно, он мог убежать. Он подъехал с бороной к дому, выпряг лошадь. Взял меня за руку, уздечку в другую руку. Я держал за руку младшего брата. Навстречу бежали чекисты, оттолкнули меня, схватили отца с двух сторон и привели в дом, в большую комнату. Нас не впустили. Сказали только, что надо собираться. Мама заволновалась. Сквозь замочную скважину мы видели только спину отца. Один наставил на отца пистолет, второй задавал вопросы и что-то записывал.

Сборы продолжались часа два. Мама умела шить, окончила курсы. Она была певица, прини-

мала участие в Празднике песни в Даугавпилсе, но в консерватории не училась, на это не было средств. Вот она и пошла на курсы – научилась шить, готовить. Она была и айзсаргом. Мама взяла с собой швейную

Авери открывать не разрешали, они все время были на замке. Охрана у каждого вагона, и впереди, и сзади. Как только поезд останавливался, сразу же охрана появлялась с двух сторон.

машинку. А когда привезли на перрон, машинку взять не разрешили. Так что на перроне осталась чуть ли не половина наших вещей. Хорошо, что у папы были знакомые железнодорожники и в Резекне жила мамина сестра с семьей. Фамилия их Ритерс. Они пришли – сестра с мужем – и забрали оставшиеся вещи. В вагоне с одной стороны были двухъярусные нары. Правая сторона не была поделена. Слева нас было человек 25–30. Справа всего одна семья – евреи, им разрешили взять чемоданы, тогда были такие, из фанеры, как шкафы. Они затащили четыре чемодана и устроились справа.

Отца забрали сразу же, на станции. Он успел взять только несколько вещей, потому что мама уложила все вещи вместе. Потом пытались поделить.

Долго ли стояли, не помню. Помню только, что мы с младшим братишкой устроились возле окна. Это нас спасло, потому что лето было жаркое, дышать в вагоне было нечем. Вместо туалета – дыра в полу. Двери открывать не разрешали, они все время были на замке. Охрана у каждого вагона, и впереди, и сзади. Как только поезд останавливался, сразу же охрана появлялась с двух сторон.

Помню, когда началась война, мы были то ли в Свердловске, то ли в Новосибирске. Гоняли паровозы туда-сюда, лязгали, пыхтели, чтобы мы не слышали, что говорит Молотов. Сталин выступал через три дня. У всех была одна мысль: началась война, вернемся домой... Привезли в Канск, высадили на стадионе. Приехали из колхозов, набирали работников, точно как рабов. Вокруг охрана, чтобы не сбежали. Семьи без детей разобрали сразу, увезли в ближайшие колхозы. Долго мы там пробыли, дня два или неделю. Приехали в июле.

Нас отвезли в Дзержинск, километров за 80–90 от Канска, ехали на машине. И торги продолжались. Дальше ехали на лошадях.

Оказались мы в самом бедном колхозе, в Орловке, в 25 километрах от Дзержинска. Женщины шли пешком, нам разрешили сесть на телегу. Лошади все были на войне, остались доходяги, кожа да кости...

Орловка, как оказалось, названа была так потому, что когда отменили крепостное право, крестьян отпустили, но без земли, и сюда, в Сибирь, переселились крестьяне из Орловской губернии. А землю давали так: сколько сумеешь обойти или объехать на лошади, столько тебе и отрежут. Они еще в царские времена хорошо жили, дома добротные, много лошадей. Местные рассказывали, что не могли обмолотить зерновые за три года, негде

было зерно хранить. В 1929 году, когда началась коллективизация, там было еще хуже, чем у нас в 1949 году. Было это в феврале, всех забрали, инструмент взять с собой не разрешили, всех увезли на север. Село опустело. Остались дети, но к другим пойти им не разрешили. Так большинство и умерли. Мы приехали туда в 1941 году, через 12 лет. Село так и стояло полупустое. Сначала зашли в самую большую избу, в пятистенку. Окон в доме много. Через некоторое время в доме стало холодно, избу натопить невозможно. Тогда переселили нас в беленую комнатку при бывшей амбулатории, на вид красивая. Вроде бы хорошо, стали мы жить-поживать. Но оказалось, что с нами жили и полчища клопов – шли на нас цепочкой, ели поедом... И мы оттуда сбежали. Сбежали на самую окраину села, за нами был еще один домик.

В доме была русская печь, дом пять на шесть метров, буржуйка и сени. Пытались собирать дрова. Вначале мама работала в колхозе. Работали все, не ленились. Осенью убирали рожь, копали картошку. Что получали взамен? Иной раз получали, иной раз и нет – 900 граммов овсяного хлеба на всю семью. Мама понимала, что мы умрем с голоду. И тогда она перестала ходить на работу. Она и по закону могла не работать, потому что у нее были малолетние дети. И мама стала ходить по деревням, шить. Была деревня Средняя, в 12 километрах от нас. Были и другие деревни. И мама оставалась там иной раз на день, иной раз на неделю.

Какое-то время не было и шитья. Швейная машинка была редкостью, если и была у кого, ее не давали. $\emph{\emph{M}}$ мама стала ходить в поле, где оставались неубранные колосья, собирала. Пшеница после мороза покрывается красными пятнышками. Это яд, зерна надо пропарить, как следует промыть горячей водой, потом высушить. Из них варили кашу или ели просто так. Но кто-то маму выдал. Мама говорила, что это были местные. Пришли, нашли у нас четыре килограмма зерна. Все. Отвели маму в суд. Судили не сразу, председатель колхоза хотел получить маму в любовницы. Мама была красивая. Сказал: «Станешь моей любовницей, сделаю тебя лесником, будет у тебя лошадь, дети будут накормлены, с соответствующими органами надо сотрудничать». Мама отказалась. Он сказал: «Марусенька, пожалеешь». В сентябре был суд, дали маме три года.

Старший брат зимой ходил в школу. В Латвии он окончил три класса, ходил в 4-й. А так как мама

жила в Санкт-Петербурге, мы знали и русский язык, знали латышский и немецкий. Мамина фамилия была Релих. Мамина сестра Асмус. В Сибири одно время жили с немкой. У брата в школе трудностей не было, к тому же там же говорят не по-русски, а на диалекте, сами себя они называли «лапатонцы». Брат читал книгу, и слушать его приходили из старших классов, потому что у него было правильное произношение.

В сентябре был суд. У немки, с которой мы вместе жили, еще в начале лета арестовали сына и дочь.

Нас отправили в детский дом. Меня и младшего брата увезли в Тасеево, в 80 километрах от Дзержинска. Старшего брата – в Денисовку Дзержинского района. Детский дом находился в восьми километрах от Дзержинска, там были взрослые дети. Мы жили в детском доме для дошкольников. Жил я там в 42/43 году. Следующие два года жили в другом детском доме. Мама всех нас записала годом моложе, так как малышей кормили лучше.

Осенью 1943 года меня отправили в Дзержинск, мне пора было в школу. Учился я легко, но все время хотелось есть, я же был крупный. Бродили по лесам, забирались в огороды, где можно и где нельзя... Зимой привезли к нам детей из блокадного Ленинграда. Они были старше, отбирали у нас еду. Я заболел – распух, сил совсем не было. Ноги толстые. В Дзержинске жила и работала фельдшерица из Аглоны. Иногда подкармливала меня – то сухарик даст, то хлеб, но что она могла...

И старший брат был там. Позже он добился, чтобы ему разрешили взять меня к себе. Это было весной 1944 года, когда мы из Дзержинска до Денисовки восемь километров шли пешком. Вышли в восемь или в девять утра, пришли в два ночи. Сил идти у меня не было. Помню, что вначале еще шел, а потом уже брат меня тащил. А у него же тоже сил не было. Он был на четыре года старше меня. Так мы и ползли, отдыхали. А когда до конца осталось два километра, он побежал в детский дом, собрал ребят постарше, из 6-го или 7-го класса, и они меня несли эти два километра.

Летом я был таким флегматичным, ничто меня не интересовало, ничего у меня не болело, я как-то отупел. Спас меня брат, так как в детском доме он работал на кухне водовозом, за это ему разрешалось доить корову. А корова давала литр или полтора литра молока. Так он меня и вытянул. Постепенно я пришел в чувство. Осенью появилась картошка,

мы наловчились накопать вперед на неделю. Так и жили. В 1944/45 учебном году я ходил во 2-й класс. Кончилась война.

Из Тасеево привезли младшего брата. Мы узнали его только по очкам. Детский дом в Денисовке был на хорошем счету. Брата везли в Канск, но договорились, что детей у нас покормят. Когда они поели, мы брата украли – увели в лес. Но сдавали и принимали по счету, и вместо брата взяли девочку из нашего детского дома. И летом 1945 года мы были уже все вместе.

Осенью брат пошел в 1-й класс, я учился в 3-м. Учились хорошо. А тогда было так – кто хорошо учился, тому давали лучшую одежду. Нам выдали ватные брюки, фуфайку, ушанку, валенки. В октябре или в ноябре из детского дома в Красноярск отправляли ребят в ремесленное училище. Тем, кого отправляли, разрешили забрать самую лучшую одежду. Я был большого роста, кому-то из шестиклассников моя одежда оказалась впору, и снова я остался в отрепьях...

Осенью 1945 года, когда брат уехал, из тюрьмы выпустили маму, но к себе взять нас она не могла. Она была в Канске. Там, в тюрьме, она шила, играла в театре. В конце срока она ездила с театром по лагерям. Театр назывался «Красглаг. Тайшетское отделение». Потому и выжила. Вначале ее послали на лесозаготовки. А какой из мамы лесоруб – она пела, шила, была домашней хозяйкой. Там она просто погибла бы. Потом она попала в санчасть, оттуда в актрисы, потому и выжила.

В Канске был Дом культуры лагерей, милиции, подчинялся Краслагу. Позже мама работала в ателье Краслага. Получила карточки. Но жить было негде, и взять нас к себе ей не разрешали. Так мы вдвоем с младшим братом весь послевоенный год прожили в Денисовке. Старший учился в ремесленном училище, по вечерам ходил в 7-й класс. Взяла к себе нас мама в 1946 году. Зима 1945/46 года была самая ужасная. Был голод. Даже в нашем детском доме по месяцам не бывало хлеба, раньше такого не было. Утром две картофелины в мундире и полусладкий чай – вот и вся еда.

Мама посылала немного денег, на них воспитательница покупала немного картошки, и так вот мы существовали. Весной 1946 года после школы мама забрала нас в Канск, договорилась о жилье в частном доме. Мама работала, достала в Краслаге и на нас талоны, и мы ходили в столовую. Там стояла охрана, в столовую ходили начальники. Мы ожили.

472 ДЕТИ СИБИРИ

А то у меня от голода началась почесуха – расчесывал на себе все до крови.

Мог приехать и старший брат – от Красноярска было всего 200–300 километров.

Осенью узнали, что детей увозят в Латвию. Мы со старшим братом собрались и уехали первые. В Латвию приехали в конце сентября или в октябре, были еще яблоки, это я помню. Взял нас к себе мой крестный, священник Изидорс Анцанс, он был директором Аглонской семинарии. А когда мы приехали, он был священником в Елгавской католической церкви. Церковь во время войны разбомбили, провалилась кровля, шпиль, упал колокол, но алтарная часть осталась нетронутой, и там проходили богослужения. Вначале мы жили у него, поскольку там же была и его квартира.

Потом пошли жалобы, что епископ, мол, содержит внебрачных детей и пр. Но когда-то они с отцом пообещали друг другу, что помогут в случае нужды. И нас со старшим братом он поселил в частном доме у прихожан. У нас была своя комната. Старший брат поступил в педагогическую школу. В латышскую школу. Я тоже пошел в латышскую школу, но ни слова не знал. Посадили меня в 3-й класс. Это было в Елгаве. Ни номера школы, ни улицы не помню, знаю только, что не в центре. Дела у меня продвигались с трудом. Елгава тогда была латышской, не то, что сейчас... Меня передразнивали, а я, как детдомовец, стерпеть этого не мог – дрался.

В ноябре приехал и младший брат. Крестный вынужден был отправить нас в Латгалию. Меня в Питушки, откуда родом Моника Зиле. В Питушках жил папин брат. Он в 14 лет ушел из дома, так как земли было всего 15 гектаров, двоим не развернуться. Папин брат был горбун. Отец пошел учиться, окончил Резекненское коммерческое училище, вначале работал бухгалтером, потом пошел в полицию. Во время войны брат отца и мать умерли, осталась вдова с двумя детьми — Олгой и Леонидсом. Леонидс был на год или два старше, а Олге было уже 17 лет. Пришел я к ним жить в 1947 году сразу после Нового года, пошел в школу в Столерове, в пяти километрах от Питушков. Окончил 3-й класс, по латышскому языку у меня была двойка.

Младший брат жил в Земесгалсе, в семи километрах от Резекне. Станция Таудеяни. Жил у папиного двоюродного брата, который работал в Дорожном управлении. Жили они хорошо. Но меня брать не захотели.

В 1947 году мама сбежала из Сибири. Она общивала жен начальников. Через них она достала справку, что может купить билет на поезд. В Латвии начальниками волостей в то время были военные. У одного четыре, у другого пять классов образования. Любители выпить. Мой дядя, папин двоюродный брат, поил этих начальников и достал маме новый паспорт. Была она Ратниекс Мария Артуровна, 1906 года рождения, а паспорт ей достался на имя Ячук Марии Антоновны, 1903 года рождения, так что найти маму не представлялось возможным.

В Даугавпилсе я учился в 4-й семилетней школе на улице Кауняс. Проучился там 5-й и 6-й класс. Мама вначале работала в лаборатории, потом в пошивочном ателье, приемщицей, потом стала шить сама. В 1949 году маму сдал родственник – другой двоюродный брат отца, Одумс, он был директором в Таудеяни. А было так – маму искали, детей не трогали. И мы договорились отвечать, что мама в Канске, перестала нам писать, и мы больше ничего не знаем. Вначале к директору вызвали младшего брата. Чекист спросил у него, где мама. Он и сказал так, как мы договорились. И мы повторили то же самое. А директор и говорит: «Как? Твоя мама ведь с Ником (со мной то есть) живет! В Даугавпилсе!». Вот и все. Сначала арестовали маму. И опять мы остались одни. Брат окончил педагогическую школу, работал в Резекне, в железнодорожной школе учителем. Сейчас там польская школа. Там нам дали квартирку. Брат работал, зарабатывал, я помогал ему исправлять тетрадки по латышскому языку, учился в 7-м классе. Я и хозяйничал, он давал мне деньги, я ходил на базар, готовил. Мама вначале была в тюрьме, потом ее отправили в лагерь в Ливберзе. Нам разрешили раз в месяц отправлять ей посылку – носки и рукавицы. На Октябрьские праздники ее амнистировали. Мы с младшим братом считались несовершеннолетними. Но из тюрьмы ее не выпустили. Мы уже думали – мамы нет, я думал окончить 7-й класс так, чтобы сразу же попасть в Даугавпилсский железнодорожный техникум. Снабжали его в те годы хорошо, как военное училище, - и форма, и тренировочный костюм, и хорошая кормежка. 22 декабря 1950 года я вышел в магазин за продуктами, поднимаюсь наверх, дом стоял на горке. Смотрю – стоят двое с автоматами. Я сразу все понял. Иду дальше – возле уборной стоит еще один с автоматом, двое в коридоре. Вхожу в квартиру – стоит лейтенант и с ним еще один.

Старший брат был дома, младшего тоже привели. Взяли прямо со школьной скамьи. Он все говорил: «Никуда не пойду!» Так его на руках принесли... Так началась наша вторая эпопея.

Школьный табель принесли мне в тюрьму. Три дня был в Резекне, в тюрьме, потом перевезли в Ригу, а в Центральной тюрьме уже была мама, ну и теперь мы. В ночь с 31 декабря на 1 января 1951 года спецвагон вез нас в Новгород. Были там 48 часов. Нас даже в камеры не ввели. В большом помещении собирали народ, пересылка называлась. Приехали в Ленинград. Побывали в Крестах. Мама на 1-м этаже, мы – на 4-м или 5-м. Продержали нас там 10 дней. Условия были нормальные, дважды были в бане, разрешали читать, дали шахматы, шашки. Нас, детей, кормили хорошо, двух порций хватало на троих. Взрослым давали рыбный суп, баланду, нам – мясной. Нам давали мясные котлеты, им – рыбные. Потом отправили нас в Киров, в пересыльный лагерь, там продержали две или три недели. Я заболел, лежал в изоляторе. Мама работала на кухне. В пересыльном лагере разрешалось ходить из барака в барак, приходили к маме, она всегда приберегала для нас что-нибудь. Старший брат не ходил, ходили мы с младшим.

В Свердловске мы уже сидели в тюрьме вместе с бандитами. У меня были хорошие сапоги, купил мне их старший брат. Мороз минус 40 градусов. Пальтишко было не ахти какое. Нам с младшим братом выдали ватные брюки и валенки. Мне похуже, брату получше. Выдали ушанки, ватники. В Свердловске пробыли две недели. Помню, как вели себя авторитеты из уголовников. Мы с братом, как детдомовцы, хорошо играли в домино. В карты с ними лучше не играть, обмишулят. А в домино не очень-то обманешь. И оба мы их обыгрывали. Проигравший должен был лезть под стол и блеять козлом. А для них, если обзовешь козлом, это самое худшее оскорбление. Можно было и откупиться от блеянья пайкой, и они отдавали нам продукты и нас защищали.

Следующая остановка – Новосибирск, задержались на сутки. Младший брат там чуть не погиб. Сидели в большом помещении, народу много. Выдали сухой паек. Была в нем то ли селедка, то ли горбуша, соленая, в рот не взять. Конвой, вывели всех. А мы со своими манатками отстали. Братишка нес продукты, хлеб и свои вещички. Гонят нас все вперед и вперед. Один конвоир как ткнет штыком – хлеб проткнул, рюкзак проткнул, и штыком

в спину. Хорошо, что неглубоко. Брат, естественно, закричал. Все сбежались, и авторитеты. Хорошо, что лейтенант попался умный, всех успокоил, а то непременно возникла бы драка.

Ехали сутки, может, и дольше, до Красноярска. Там мороз 40 градусов. Вели ночью. А нас было целых три вагона. Вохровец подойдет к камере, выкрикнет фамилию, выведет, потом следующего, не сразу всех. Привели на перрон, велели сесть. Пулемет и с лица и со спины. По другую сторону вагона милиционеры с собаками и автоматами. Мы не послушалась, садиться отказались, так один как даст очередью из пулемета поверх голов. Ну, сели, конечно. За это в «Черной Берте» нас посадили в карцер – там и стоять-то было негде. Двое нас было, захочешь – не упадешь. В Красноярской тюрьме посадили в подвальное помещение царских времен. В сводчатых подвалах мы провели почти месяц, спали на нарах в три этажа, отопления не было, сыро, липко. Мне было уже 15 лет, работал на пилораме. Работать я умел, приобрел навыки и в колхозе, и у бабушки. Я, по крайней мере, восемь часов был на свежем воздухе. Было страшно холодно, но грелись мы в кузнице рядом. Приносили баланду, на горне ее можно было разогреть.

Потом нас переслали в небольшую тюрьму в Канске, старшего брата там остригли, хотя осужден он не был. Поместили его к мужчинам, нас в женскую камеру. Я простыл, спать приходилось на полу, места на нарах на всех не хватало. Поднялась температура. 26 или 27 марта отправили меня больного в открытой машине из Канска в Тасеево. Мама сказала, что у меня температура, на что врач ответил, что я так или иначе умру, конвой для одного человека посылать не будут. И отправили нас в Тасеево, за 160–180 километров. Обе машины ЗИС-5 были на газовых генераторах, ехали со скоростью не больше 40 километров в час. Единственное преимущество – генератор. Ехала с нами такая Бахитова с дочкой – латышка, которая вышла замуж за татарина. Она была фельдшер, было у нее шерстяное одеяло. Она закутала меня, и я сидел, опершись спиной на газовый генератор

Дорога длинная, машина открытая. Километров через 30–40 остановились, зашли в кафе, старший брат сделал мне грог. Пока ехали, останавливались четыре или пять раз.

В Тасеево ждала нас милиция. Затолкали в помещение человек 20. Спать могли только восемь, остальные стояли, потом менялись местами. Утром

раздали всем листочки, что мы теперь на поселении. Все, в том числе и дети, расписались, что в случае побег нам грозит каторга – 25 лет. Каждые две недели надо было отмечаться в милиции.

И начался наш второй сибирский этап жизни.

Прошла зима, разбили мы огород. Там без забора не обойтись - местные выпускают свиней, коров, овец, кур, и они бродят, где хотят. Нет забора – нет огорода. Осенью пора было идти в школу. Надо было заготовить дрова, чтобы каждый день не думать об этом. Стали и мы заготавливать. Дров в тайге сколько тебе надо. Смолистые лиственницы лежали прямо на земле. Стали пилить. Я взялся обрубать сучья, они сухие, топор острый. Ударил со всей силы, попал по коленке, чашечка пополам. А были мы далеко от дома, километрах в шести, а до мамы еще каких четыре. Посадили меня на ручную тележку, ногу перетянули ремнем, все равно – кровь, мухи... До больницы добрались в пять часов, но весь персонал был на сенокосе. Дежурили санитарка, сестричка и профессор Мамушин из Одессы, знаменитый врач. Учитель офтальмолога Федорова. Сильный, поднял меня на руках, положил на стол. Но анастезии никакой не было... Привязали меня ремнями. Сначала дали полкружки спирта и стали резать по живому. Орал я, как говорится, что резаный. Но привязан креко, шевельнуться не могу. Я ему говорю, что чашечку пробил, а он не верит. На второй или третий день нога распухла, и резали меня второй раз, и снова по живому. Через две недели началось заражение крови. Меня уже и в коридор вывезли, ширмой отгородили, умирать оставили.

Мама ко мне приходила. Договорилась она, чтобы мне каждое утро давали сырое яйцо, но я впал в беспамятство. Помню, что мне переливали кровь, напрямую. Первая группа, резус-положительная, была только у докторши из лаборатории, еврейки. Стал я приходить в себя. Попал в больницу 16 июня, вышел только в конце августа — 21 или 22 числа.

Пошел в школу, в 8-й класс. Вначале было три восьмых класса, но в сталинские времена не церемонились – три двойки в четверти, тут же из школы выгоняли. После первой четверти осталось всего два класса. Я школу в Тасеево окончил. Электричество появилось, когда я учился в 10-м классе, до этого учились при керосиновых лампах – одна у доски, пять вдоль стен. Дежурный обязан был чистить стекла, доливать керосин, наполнять чернилами чернильницы, после уроков приносить дрова.

Учителя были действительно профессионалы.

Работал с нами такой Лаза, сослан был в 1937 году. Архитектор, в свое время был первым секретарем в Харькове. Ему разрешили уехать в Красноярск. Позвал с собой и братьев, и они поступили в железнодорожный техникум. Младший сразу на 2-й курс, так как он окончил восемь классов, старший – на 1-й курс, с математикой у него было слабовато. Работали у Лазы, он выполнял внутреннюю отделку в домах культуры, помогали.

В 10-м классе я заработал валенки, у меня был новый ватник, кепка, зимняя шапка. Учился хорошо, всего две тройки – по русскому языку и по литературе.

После смерти Сталина, в 1954 году к Лазе приехала сестра, которая в 1937 году от него отказалась, поэтому ее не выгнали из партии, а за это время она выбилась в крупные чины. В такие, что и в кабинет к Ворошилову могла входить. Лаза написал о себе, посоветовал и братьям сделать то же самое. Они написали, и все это было передано прямо в руки Ворошилову. Обычно как было – пока до Красноярска жалоба дойдет, потом в милицию, а в милиции на нас – чем занимаетесь...

Наш 10-й класс находился на втором этаже. Школа на горе, внизу река. 19 апреля. Смотрим, два милиционера идут. Через некоторое время в дверь постучали, вызвали меня. «Собирайся!» Увели. Через мост прошли, завели в фотографию, сфотографировали, повели в милицию. Ни слова не говорят. В милиции сидела мама, велели ждать. Фотографии принесли еще мокрыми. Посидели, вызывает начальник, вручает паспорта. Пришло распоряжение выдать нам паспорта в течение 24 часов, мы должны были расписаться, во сколько получили, что все сделано в срок.

Так 19 апреля мы получили паспорта, и на следующий день я показывал его местным. Счастливый, говорили мне, сможешь поехать, куда захочешь! Паспортов у них не было, вообще никаких документов не было. Если из института приходило подтверждение, что допущен к экзаменам, тебе выдавали справку, где говорилось, что выезд разрешен. Если в институт принимали, тогда выдавали паспорт.

В 1954 году оба брата были железнодорожники. У меня был знакомый из Игарки, ему билет на поезд был не нужен. Любой студент-железнодорожник мог бесплатно перемещаться по всему СССР. Он дал мне свой студенческий билет, я переклеил

фотографию и приехал сюда. Поступил в Университет, на факультет энергетики.

Мы интересовались судьбой отца. И всегда нам отвечали «сведений нет». Узнал я, когда вернулся, такой Трасунс, врач, сидел вместе с отцом в одном лагере. Рассказал, что в феврале отец был приговорен к расстрелу. Сначала отец работал в каптерке, но начальство воровало. Отец стал возмущаться. За это его отправили в лес. Сначала был суд, в феврале, дали какую-то статью. Позже Чужов говорил: «Была бы оккупация, судили бы по российским законам». По законам России и судили, не по законам же Латвии! Приговорили к смертной казни, а до этого отправили на лесоповал, там он заболел двусторонним воспалением легких. Врач, фамилию которого я только что назвал, может быть, не совсем правильно, ходил к начальнику лагеря. Попросил две ампулы. На что тот ответил: «Ха! Нашим солдатам это нужно! Выживет – выживет, подохнет - пускай подыхает, у него и так расстрел». Так отец и умер 10 марта 1942 года. Похоронен

там, в 5-м или 7-м Вятлаге. Узнали об этом только в 1989 году, когда нас официально реабилитировали. Брат был у Индрикова после реабилитации, там и были дела.

Я уже работал, но директором не назначали. На меня написали 21 донос. На младшего брата было три доноса, на старшего, на маму. Нам всем предлагали сотрудничать, когда сослали второй раз. Маме сказали: «Будешь сотрудничать, на Даугавпилсской фабрике станешь закройщицей! Зарплата двойная, дадим двухкомнатную квартиру!». Старшему брату предлагали, в 1956 году он был в Венгрии, в артиллерии. Я в 1957 году работал в колхозе, мне подвластны были любые работы. Я тогда на 3-м курсе учился, предложили председателем колхоза. Говорю – я беспартийный. «Примем!» Хочу, говорю, дальше учиться, в сельскохозяйственной академии. «На каком факультете? Только одно условие – надо сотрудничать». Я отказался. Не раз меня хотели назначить директором, но я остался учителем. Хотел поступить в аспирантуру. Дважды не ответили.



Слева во втором ряду: отец Петерис, бабушка, мать Мария, в первом ряду Георгс, Николайс, Александрс. Латвия, Аглона, 1938 год

ВИЗМА РАУТЕНБЕРГА (АРИШЕВА)

родилась в 1938 году



Я родилась в Вентспилсе, в рабочей семье. Отец ходил в море, механиком на судне, был он также офицером морских айзсаргов. Мама была домохозяйка.

14 июня около трех ночи с большим шумом в дом ворвались чекисты, вместе с ним два латыша. Дали час на сборы. Отец сразу сказал маме, что это дело рук Вилиса Лациса, оба они ходили в свое время в море, и были у них политические разногласия. Отец отдал оружие. А для мамы главное было не забыть мой горшочек.

Папина первая жена умерла, и дочку Ингриду забрали вместе с нами. Отвезли на станцию, возле вагонов рассортировали. Солдаты отобрали и у мамы, и у отца обручальные кольца, и мама решила, что поведут на расстрел. Два или три дня стояли на станции в Вентспилсе. Родственники забрали сводную сестру. Мамина сестра пришла и за мной, но ей меня не отдали.

Ехали долго. Помню, что в вагоне люди вдруг начинали плакать, вдруг начинали петь. Началась дизентерия. Умер ребенок, открыли на ходу дверь и ребенка выбросили... Я затихла, как та мышка, – стало страшно, как бы и меня не выбросили. Кормили плохо. Не хватало воды. Долго ехали, подолгу стояли.

Приехали в Томск. На лошадях отвезли в село Терентьевка. Прожили там около года. Мама работала в поле, собирала огурцы.

Зимой было очень холодно. Нас на пароходе повезли дальше на Север. Пароход был переполнен, начал тонуть. Люди стали выбрасывать за борт столы, швейные машинки. Все перемерзли. Привезли в Дудинку, оттуда в Левинские Пески. Латышей

там было мало, в основном поволжские немцы. Маму на неделю забрали, дома я оставалась одна. Летом мама вылавливала из Енисея бревна, зимой ловила рыбу.

Жили в землянке, спали на нарах, внизу. Зимой, помню, косички примерзли к стене, мама своим дыханием отогревала. Во сне ко мне приходил чертик, заманивал меня вниз – под нары. Листали книжки с картинками, и становилось так тепло! Было мне четыре года.

Посреди землянки стоял большой котел, в котором один раз в день варили рыбный суп, и мы становились в очередь со своими мисочками. По-русски говорила плохо, зато хорошо по-немецки с немецкими детьми. Мама меня научила: «Пожалуйста, дайте мне ухи!». Стояла в очереди и повторяла: «Спасибо! Пожалуйста!». Все смеялись.

Однажды мама достала розовое туалетное мыло. Предупредила меня – не тронь! Я подумала, что это что-то вкусное. Куснула – невкусно.

Пошла в школу. Была серая бумага и огрызок карандаша. В пять лет уже свободно читала. Русский язык освоила.

Началась у меня цинга. Увезли в Дудинку, в больницу. Стало лучше, забрали домой. Через пару месяцев снова началась цинга, и снова меня увезли в больницу. И тогда мы с мамой убежали... Было лето, и мы жили в Дудинке под лодкой. Когда начинался дождь, затыкали дырки в днище. Прибли-

жалась зима, и мы пошли с мамой в спецчасть – сдаваться. Обратно маму не отправили.

Жили мы – несколько семей – в одной комнате, были и местные. Было холодно. Мама работала в пе-

Умер ребенок, открыли на ходу дверь и ребенка выбросили... Я затихла, как та мышка, — стало страшно, как бы и меня не выбросили. карне, по крайней мере, воду давали. Нищета была страшная.

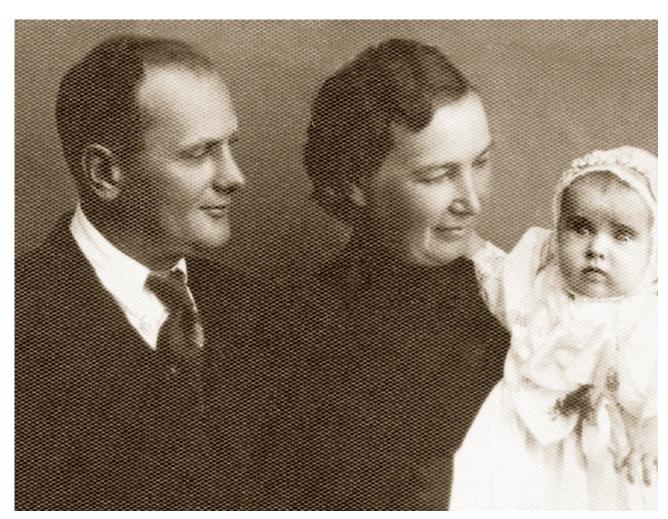
Мечта была наесться до отвала. Так мы и мучились: мерзли и голодали. Чтобы выжить, воровала уголь, корм, предназначенный быкам. Как бомжик, шныряла по помойкам, собирала картофельные очистки, листья капусты... Когда однажды украла у рыбаков рыбу, помню, бежала и орала благим матом... Почему, не знаю, но бежала и кричала. Когда крала уголь, с вышки кричали, что стрелять будут.

Помню, ходила в школу. Жили мы тогда в бараке. Умерла Соня, и нас, детей, попросили, чтобы мы день посидели возле трупика... Сидели. Нашли в кладовке банку с вареньем. По ложечке, по ложечке, все варенье и съели, а потом испугались, что накажут. Намазала палец вареньем, потом рот умершей девочке намазала. Когда пришли родители, сказали, что Соня встала и все варенье съела... Всякое было.

Мама в 1945 году вышла замуж второй раз. А я все время ждала отца. Муж мамин был тоже высланный, украинец. Стало жить легче. Мне уже не надо было воровать, но отчим не разрешал нам с мамой говорить по-латышски. Когда родился сводный брат, он меня вообще возненавидел. Мама попросила его уйти. Остались мы одни, но после войны жить стало полегче. Мама работала в ветеринарной клинике, ездила к оленям, привозила иногда мясо. Трудно было с жильем – то в одном месте, то в другом.

В Дудинке я окончила 10-й класс. Освоила и латышский язык – мамина сестра присылала нам газеты. Прислала и сказки Пушкина – синюю книжку с золотым петушком. Сама все прочитала.

В Дудинке платили мало. В Норильске платили больше. Я хотела поступить в медицинский институт, поступила в Казани. На фармацевтику, но мне не понравилось. Хотела учиться в Норильске в горном институте, но провалилась на химии. Так



Визма с крестными родителями. Латвия

и осталась с десятью классами, работала в аптеке бухгалтером, зарплата маленькая – 53 рубля.

Мама вышла замуж в третий раз. Он тоже был ссыльный – прокурор из Литвы. Работящий. Мама работала уборщицей в порту. Приемный отец получил квартиру на берегу Енисея. Дом старый, холодный, но было свое жилье.

В 1958 году мама съездила в Латвию – к тете в Кулдигу. Но они и сами жили бедно. Мама вернулась в Сибирь. Мама приехала в Латвию в 1964 году – с мужем и братом. Я к тому времени и сама была замужем, были дети. И я осталась. Когда с мужем отношения совсем разладились, все бросила и приехала домой.

Дали мне никудышную комнату, и я пошла в партком. Зашла в кабинет секретаря, с тремя детьми, младший описался, я сняла ползунки, повесила на радиатор и сказала, что никуда отсюда не уйду... Выделили мне комнату в полуподвальном помещении. Поехала я в Даугавпилс, выучилась

на маляра. Там прожила десять лет. Мама с мужем построили в Вентспилсе дом, началась нормальная жизнь.

Здесь весной все бегут смотреть ледоход на Венте. Да смотреть здесь не на что! Как у нас на Енисее лед шел! Дома сносило! Как ни было трудно, душой приросла к Северу. Так хочется съездить. Но возможностей нет. Во сне Дудинку вижу. Я всю жизнь отца ждала. Уже и старая была, а все ждала... Если мать жива, почему отец не может быть жив?

Много времени прошло, пока дождались реабилитации. Узнали, что отцу не давали работу, так как он не подписал какие-то бумаги... А кто не работал, тому не давали есть. Умер он голодной смертью. Ему было 42 года. Если бы деньги были, съездила бы в Вятлаг, посмотреть на это место. К сожалению, нет такой возможности.

Я много перенесла. Но все прощаю. Это была воля Сталина. Одного не могу простить – что убили отца.



Слева: Визма, Иварс, мать Ливия. 1951 год



АРИЯ РЕЗЕВСКА (ГОБЗЕМЕ)

родилась в 1934 году

Я родилась на хуторе «Индули» Турлавской волости Кулдигского уезда.

В 1941 году мне было семь лет, в школу еще не ходила. 14 июня был теплый солнечный день. Я гостила у подружки по соседству, когда за мной пришли. Дома я увидела машину, незнакомых людей, мужчин небольшого роста с винтовками. Отец сидел в комнате у стола, что-то писал. Он знал русский язык.

Бабушка и дедушка плакали, я не понимала, что случилось.

Мне сказали, что уезжаем в Сибирь. Сели в грузовик, отвез он нас на станцию Скрунде. Цвела сирень. На станции отца забрали, а нас запихнули в вагон для перевозки скота. Спали на втором этаже, бабушка и дедушка внизу.

Когда вагон тронулся, взрослые запели псалмы, потому что поняли, что увозят их на погибель. На каких-то станциях выпускали, можно было набрать кипяток. Однажды даже всех выпустили – помыться.

Когда приехали в Красноярск, всех погнали в баню. Потом повезли дальше, кажется, на станцию Заозерная. Оттуда на грузовых машинах отвезли в Устьбаргинский леспромхоз.

Мама работала на лесопилке. В первый год в школу я не ходила, чужого языка не знала. Жили в длинном бараке. Маме полагалось 500 граммов хлеба, нам на всех – тоже 500, к тому же хлеб был несъедобный.

Чтобы как-то выжить, ссыльные меняли в соседних селах одежду. Мама сменяла почти все, мне даже нечего было надеть. И она перешила то, что еще оставалось, а из дедушкиного полушубка пошила мне сапожки.

Местные были люди неплохие, большинство из них – высланные украинцы и немцы, они успели уже как-то прижиться. Только вначале дети обзывали нас фашистами.

В следующем году пошла в школу, познакомилась с русской девочкой Даной. Она учила меня языку. В школу ходила три года, мне там нравилось.

Весной подбирали в поле колоски, все руки до крови были исколоты. Зерно запаривали, варили. Ели и почки. Собирали подмерзшую за зиму картошку, натирали, пекли на плите лепешки. У картошки мама срезала глазки, их мы сажали. Летом все латышские дети ходили в лес по ягоды, собирали черемшу.

Местные держали коров, мы меняли вещи на молоко, за молоком я ходила с пол-литровой бутылкой.

Умирало много детей. Умер дедушка, потом бабушка...

Каждый месяц приезжал комендант отмечать всех и каждый раз говорил, что сосланы мы навечно. Мы с этим смирились.

И все-таки в 1946 году я вернулась в Латвию.

Когда расставались, ужасно плакала, не хотела уезжать от мамы. Она мне сказала: не плачь, я тоже скоро приеду. В дорогу мне дали горох и сухари. В Риге нас сразу же поместили в детский дом. Таким все казалось странным: чистые кровати, простыни, все блестит! Снова нас очищали от вшей.

За мной приехали бабушка с дедушкой, привез-

ли домой. В Сибири мы от голода распухли, поэтому к еде нас приучали постепенно, а утром мне давали чуть-чуть сливок.

Ходила в школу, летом пасла скот, помогала на сенокосе. Дома было

Весной подбирали в поле колоски, все руки до крови были исколоты. Зерно запаривали, варили. Ели и почки.

ДЕТИ СИБИРИ

хорошо, но на хуторе мне не нравилось – не хватало компании, детей.

В Сибири всегда все были вместе – и в трудах, и в шалостях. Как-то собирали в поле колосья, прискакал на коне какой-то человек, хотел отобрать у нас сумки. Мы, конечно, не отдавали. Так он сказал: стой, стрелять буду!

Там же колоски собирала и какая-то русская женщина, она подошла и сказала ему, чтобы не пугал детей. Но мужчина вырвал у нас наши торбочки и все рассыпал по земле. От страха все втроем бросились в тайгу. Бежали, что было сил, а он стрелял в воздух.

Заблудились, расплакались. Уже темнело. К счастью, на заводе, когда начиналась утренняя смена, давали гудок, и когда заканчивалась, – тоже. Услышали мы и выбрались из тайги.

Мама стояла возле нашего барака вся в слезах, думала, что мы пропали.

Мама в Латвию вернулась (сбежала) в 1947 году на Янов день. Мы сидели у окна, и я вдруг увидела – мама идет! Выбежала, обняла, плакали обе от радости. Мама стала помогать родителям по хозяйству.

Так жили мы с мамиными родителями в Турлаве до 25 марта 1949 года. А 25 марта, когда я вернулась из школы, уже темнело, во двор приехали местные – снова ссылка.

Привезли в Скрунду, посадили в телячьи вагоны и повезли в Сибирь. Чувствовала я себя ужасно – я уже все понимала, мне было 14 лет.

Поездка ничем не отличалась от первой, в 1941 году. Только адрес был другой – выслали нас в Молотовский район Омской области. Поселили в доме у местных жителей.

Через год мы построили собственный домишко, где прожили до осени 1956 года.

Обе с мамой работали в колхозе, зарабатывали на хлеб, школа там была начальная, а я уже окончила четыре класса. Работала на тракторе прицепщицей.

Бабушка с дедушкой присылали нам посылки – сало и сушеные яблоки. Мама написала по меньшей мере восемь прошений, чтобы нам разрешили вернуться домой, но ей отказывали.

Узнали, что отец в Вятлаге умер еще 3 июня 1942 года – из-за сердечной недостаточности.

Когда в 1956 году вернулись в Латвию, жили у бабушки с дедушкой.

Мама просила, чтобы нам разрешили вернуться в дом моего отца. Там обитало уже шесть семей, нам дали одну комнату.



Ария с мамой

В своем доме жилось нам нелегко. Латыши косились – а ты что здесь делаешь?

Когда я в посаженном отцом саду подбирала яблоко, тут же говорили: что ты там ищешь, никакая ты тут не хозяйка!

Соседи и нашу мебель забрали, одежду. Ничего не вернули. Обидно.

В колхозе работала дояркой, трудилась и в овощеводческой бригаде. Вышла замуж. В 1969 году купили дом в Кулдиге.

Мама умерла в 1987 году.

В свое время отцу принадлежало 35 гектаров земли, он был волостной староста, командир айзсаргов, и мама была айзсаргом.

Но разве же это преступление? Разве можно забыть, что с нами, с латышами, сотворили? Разве это можно простить?

Я простить не могу. Забыть это невозможно. Это был настоящий геноцид.



ЗИГРИДА РЕЙМАНЕ (МЕЖДРЕЙЯ)

нечно, удивились. Потом оказалось, что это пять

родилась в 1929 году

Родилась я в Риге, на улице Вею, 20. Отец владел текстильным предприятием. Мама хозяйничала дома. Есть у меня брат, на пять лет старше.

14 июня 1941 года меня разбудил папа, сказал, чтобы одевалась. И тут я услышала, что в квартире находятся чужие люди. Ко мне подошел молодой человек еврейской национальности и сказал, чтобы я одевалась, а я была девочка капризная, сказала – при нем одеваться не буду. Он отвернулся, и я оделась. Мне велели надеть на себя все, что у меня было. Надела три или четыре платья, он вытащил из шкафа все мои вещи и обувь. Потом спросил, где у нас хлеб. Пошли с ним в кухню. Где он достал чемодан, не знаю, но в руках у него был чемодан, он сложил в него хлеб, банки. Мне казалось, что меня оскорбили. Мама все время плакала, рядом с нею находился латыш, толстый, был хорошо одет. Он ничего не укладывал, только выбрасывал. Папа сказал, что ему ничего не нужно. В квартире было четыре человека, кроме этих еще двое русских. Запомнилось почему-то, как один из них, монгольского типа, или южного типа, увидел лимон, стал его выжимать, мне было смешно - он что, лимона не видел? Брат натянул на себя самую старую школьную форму, которая была ему уже мала. Папа говорил по-русски. Еще он владел немецким языком. Не знаю, сколько прошло времени, вышли во двор. Возле ворот стоял грузовик, моросил дождик. Ехали по улице Баускас, там взяли еще одну семью

с маленьким мальчиком, ему было года два-три, мужа и жену. С собой у них не было почти ничего. И на руках у них был ребенок.

Привезли в Торнякалнс. Подвели к вагону всех, и отца, и брата. Перед вагоном была куча ящиков. Мы, ко-

русских сестер сумели каким-то образом собрать столько вещей... Дамы были все старые, с тогдашней моей точки зрения. В вагоне были нары, большая часть их была занята. К окну мы не попали. Вечером в вагон завели еще одну семью с маленьким ребенком. Так мы там и сидели. Мама была в отчаянии, папа успокаивал. Поздно вечером вызвали всех мужчин. Папа выходить не хотел, но мама настояла – иди, а то еще тебя расстреляют! Больше я папу не видела... Не помню сейчас, было это на следующий день или ночью, когда поезд тронулся. Я видела на мосту сторожевую будку. Это мои последние воспоминания о парке Аркадияс, где стояла та будка. Сколько ехали, сказать не могу. Кажется, где-то на границе мне послышался папин голос. Насколько можно было понять, мужчин пересаживали в другой эшелон, или мне это только показалось... Помнится, тогда все те события не казались мне трагичными, это скорее воспринималось, как приключение... Естественно, назавтра все перезнакомились, была девочка моего возраста, больная, у нее был детский паралич. Мы подружились, и нам освободили место возле окна, можно было видеть, что происходит снаружи. Видели, как переехали границу. Смешно было, когда охрана на платформе пыталась запретить нам смотреть в окно, мы им показывали язык и смотрели. Когда переехали границу, все стали ждать, что начнется война. Почему-то мне так помнится. На станци-

ях поезд иногда останавливался, можно было достать горячей воды. В ведрах в вагон заносили пшенную кашу. Никому она не нравилась, у каждого с собой была еще домашняя еда. У старых русских дам было много

Мама копила... То ли есть не могла, то ли меня жалела... черные сухари копила и отдала их мне.

чего, они нас угощали. Мы, дети, чувствовали себя вполне уютно. Только теперь я понимаю, как страдали родители. В нашем вагоне не произошло ничего страшного – никто не умер, все как будто были сыты. На станциях всегда были люди, торговавшие едой. Иногда меняли на платки, на мелочь молоко. Мы веселились, что молоко на станциях продают в бутылках из-под водки. Нравилось ходить за водой, можно было размять ноги.

Естественные надобности в вагоне приходилось справлять во встроенное корыто, похожее на кормушку, зато как радовались, когда можно было выбежать на луг. Мы шутили – вот бы сбежать, но куда? Когда раздавалось «По вагонам!», мы возвращались обратно. Мы, дети, не слушались, подлезали под вагоны, выбирались на другую сторону. Убежать можно было легко, но куда идти? Вокруг пусто. Приехали в Красноярск. Ночь, темень. Завели в какое-то здание, в школу или в барак, не знаю. Потом стали приезжать на лошадях, куда-то увозить... У нас спросили – хотите в колхоз? Решили, что лучше в колхоз, поближе к продуктам. И увезли нас на грузовике из Канска в Тасеево, за 180 километров. Разместили в зале дома культуры. Большой зал, со сценой, на берегу реки. Каждый трясся над своими узлами. Пришли русские смотреть. Кто знал русский язык, разговаривали с ними и те говорили, что приехали очень красивые люди. В первые же дни на одежду можно было обменять что-то из еды. Тогда мне казалось интересным, что русские так смотрят... Взрослые были в ужасе. Нам русские показались совсем другими – обтрепанные, платки завязаны крест-накрест. Были ребята, играли на музыкальных инструментах, мы пели, некоторое время чувствовали себя хорошо, так мне, во всяком случае, помнится. Потом развели нас по домам. Не знаю, заставили ли их, или они сами пришли за нами. Мы оказались у одних хозяев, подружка у других. Но нам хотелось быть вместе, и родители договорились, что поселятся вместе в одной комнате. Спали на полу, сначала на своей одежде, на узлах. Хозяйка дала «чугунку», но обращаться с ней мы не умели. Разводили костер и варили суп. Еще и сегодня помню, как мама подружки, госпожа Зиединя, сварила щи из свежей капусты, были помидоры, корешки всякие, и русские женщины все спрашивали, зачем в суп класть помидоры и укроп.

Мама и госпожа Зиединя устроились на работу в артель «Красный кустарь», стали шить, в юности когда-то этому учились. Надо было шить ватники и

ватные брюки для армии. Те, кто поумнее, пошли работать в колхоз, так как там на трудодни выдавали муку. У нас же был паек, сколько граммов, не знаю, ломоть хлеба тем, кто не работал. Тем, кто работал, кусок хлеба в два раза больше. Одежда, что была с собой... Кто был тот добрый человек, кажется, тот еврейский юноша, который позаботился о том, чтобы у нас с собой была одежда, были мешки, в которые она была сложена... Русским наши вещи нравились. Все меняли на овощи, на муку. Они тоже были небогаты, в колхозе платили плохо... Первые годы прошли терпимо. Есть, конечно, хотелось, растешь, есть все время хочется. А потом, помню, начались трудности. Я из всего выросла. Из того, что взяли, ничего не годилось. Все продали. Была с нами такая госпожа Калниня с тремя детьми, два мальчика и маленькая девочка, годика два. Женщина она была очень энергичная, достала в колхозе мешки. Мама умела шить, и из этих мешков шила одежду, жакетки. Потрясающие юбки и жакетки! Не знаю, как эти русские нас не линчевали, мешки ведь были краденые. Но, видно, и они были настолько порядочные, что ничего не говорили, ни один председатель колхоза за нами не гонялся. А так всякое случалось. И вот через год, когда на Енисее началась навигация, забрали всех парней 1928 года рождения на Север. Тогда не знали, куда пошлют, сказали, пошлют туда, где нужно выполнять работу для армии. Отвезли их в Енисейский район в село Дорофеевск. На самый север. Об этом мы узнали намного позже, когда получили от брата письмо. Не помню, когда это было. Река разлилась, горные реки несли массу воды, а там была мельница, дамба, которую грозило снести. Надо было укреплять дамбу, носить камни. Но дамбу все-таки прорвало, мама тонула, плавать она не умела. Пришла домой мокрая и заболела. Я этого не видела. В то лето мама заболела тифом, ее положили в больницу. Больница была на самой горе, простая больница, но там работали латыши. Госпожа Тетере, госпожа Крейцберга, одна была терапевт, вторая зубной врач. Позвали они меня однажды и сказали, что мама, скорее всего, из больницы не выйдет... Меня к маме не пустили, могла только в окно смотреть. Мама копила... То ли есть не могла, то ли меня жалела... копила черные сухари и отдала их мне. Я съела и не заболела. Но мама месяца через три все-таки из больницы вышла, выздоровела. Она даже ходить не могла, и я за нее работала в артели, обжигала кирпич, копала глину, делала все, что велели. Попросила у бригадира

лошадь и привезла маму домой. Помню, мы продали последнее мамино колечко, было такое тоненькое с лиловым камешком, за пуд муки и 10 яиц... естественно, все съели. Мама ожила, вернулась на работу, и обе мы работали в той артели. Зимой шили для армии полушубки. Состригали шерсть, нагревали, была специальная машина, чтобы потом можно было катать валенки. Шерсть была короткая, обработанная, валенки быстро изнашивались. И у меня такие были. Когда в селе уже ничего нельзя было достать, ходили в дальние села, где еще можно было на что-то обменять. Мама что-то сошьет, смастерит. Я из лоскутков делала кукол, клоунов. У одного нога одного цвета, другая – другого, меняли на яичко или хлеб. Дети были рады. Ходить приходилось далеко, сколько километров, не помню, знаю только, что утром уходили и только вечером возвращались домой. Когда снег начинал таять – а там таял он быстро...в этой хляби валенки мои раскисали, домой приходила чуть ли не босиком, но ничего со мной не случалось.

В печи по обжигу работали зимой, прокаливали шерсть. Надо было пилить и колоть дрова, сосновые пни толстые... Научились всему, лишь бы хлеб заработать. Летом обжигали кирпич. Бригадир, старый человек, с бородой, послал меня на берег копать глину, потом ее везли в ямы, мешали с водой. Ручки мои стали – одна сплошная мозоль. И этот русский дядечка сказал: «Ну девка, мать, возить теперь будешь, пусть бабы копают!». И я стала возить. Лошадка такая была красивая, Пегаска, пестрая. Туда везла, обратно верхом, лень было идти. И дядечка этот увидел мои кровавые мозоли, смазал их топленым маслом, у него всегда была с собой бутылочка. Обычно он его наливал на хлеб, а тут позвал меня, налил мне на руки, чтобы мозоли смазала. А я, как за угол зашла, тотчас все и слизала. Следующий раз он дегтя к маслу добавил, чтобы не слизала и чтобы мозоли зажили. Дегтем мазали и лошадей, отпугивали гнуса. Ни лошади, ни люди и часа не выдерживали без защиты. Крохотные мошки забирались всюду, руки вокруг обшлагов все были искусаны до крови. Когда мама болела, я попросилась на формовку, там больше платили, хлеба давали больше. Сначала глину из ямы надо было выложить на стол, потом со всей силой набросать в форму, струей воды выровнять. Потом форму с глиной отнести под навес. Он меня учил носить груз на полусогнутых. Чтобы не надорваться. Было мне в то время 14–15 лет. А тогда еще латыши все «ехали домой». С весны до осени, с осени до весны, вот-вот... А когда поняли что «вот-вот» никогда не наступит, принялись сажать картошку, искали возможность завести свой огород. Нам с мамой тоже дали пятачок, за селом. На берегу речки Тасеева, вдоль реки шла дорога «буденновка», по обе стороны дома. Где дорога подходила вплотную к реке, домов не было. Оба берега соединялись мостом. За рекой школа, больница, ряд домов вдоль реки. На левом берегу домов было больше. На горе милиция, почта, несколько улиц. Все село было опоясано... километр или два от центра, называлось это «поскотина», русские выпускали коров, свиней, потому и огородили, чтобы скотина не уходила в лес. Но она все равно уходила. И мы в лес по ягоды ходили, были такие туеса, а между делом и корову подоить могли. Хоть и не умела доить, но что-то нацедить удавалось. Ели и молодые сосновые побеги. Побеги елки вкуснее, розовые, как цветы, как конфетки, может, так и витамины получали. Чеснока у русских не было, если случалось, мама долькой десны мазала. Выкапывали корешки лилий, на чеснок похожие. Сначала страшно было – вдруг отравимся, но потом нам сказали – ешьте смело. Так витамины и набирались. Я не помню даже, чтобы у меня в Сибири насморк был. Хотя обувь берегли, даже если лед на лужах появлялся, ходили еще босиком.

А когда вернулись, была возможность учиться? Да, была. Но я считала, что слишком взрослая, чтобы сидеть в первом классе. Моя подружка пошла в школу, а я – работать, кусок хлеба зарабатывать. Мама очень переживала, неразговорчивая стала, и я искала поддержки у других латышей. Были такие, кто делился со мной, рассказывал о своей юности, о вещах, которые любую девушку интересуют, как познакомились, как замуж вышли... Были две женщины, которые учились в Консерватории, по вечерам мы пели латышские песни, они и оперные арии исполняли. Одна альт, вторая сопрано. Вечера при свечах были очень романтическими. Праздновали и Рождество, елочка была. Свечи были только большие. Так мы собирали огарки, сами делали маленькие свечечки. Кто-то придумал из хлеба крендельки, кружочки, вешали на елку.

Когда вашего брата забрали, как вы с ним общались? Переписываться стали, когда узнали, где он. Письма, правда, шли долго, получали редко. Брату было хуже, чем нам. Он ловил рыбу, белугу, сдавали все для армии. Рыбу брать не разрешалось, только по норме, но брали, есть ведь хотелось. Брат был в

484 ДЕТИ СИБИРИ

поселке Дорофеевск, в самом устье Енисея, возле Северного Ледовитого океана. Когда мы встретились, он рассказал, как ему там жилось.

Когда война кончилась, стало и ссыльным легче. У ссыльных евреев была связь с Америкой, они стали получать посылки. Там был сахарин, тогда и не знали, что это такое... А я ради сахарина готова была сделать все, что угодно. Если им надо было воды из реки наносить или еще что... за это мне давали чай подсластить... Может быть, такой у меня был характер, я была живая, энергичная, может быть, эти женщины пением своим меня вдохновили... Фантазерка была, представляла, какая она, Рига... Ужасно хотела увидеть, как выглядит фонтан возле Оперы. И я написала бывшим рабочим отца, и они прислали мне открытки с изображениями Риги. Вся стена была в этих открытках. Опера была, Национальный театр, Пороховая башня, еще какие-то, но все они попортились, ведь не было ни одного дома без клопов, сколько бы стены ни белили...

После войны все начали думать, что пора переписываться. Еврей Замуэльсон сказал маме, что писать надо обязательно. Фактически он и написал вместо мамы. Кажется, в Москву, Сталину, а кому еще тогда можно было писать? Не помню, когда, но, кажется, весной 1947 года маму вызвали в милицию. Я, естественно, пошла с ней, мы все время боялись, что нас разлучат. Маме сказали, что папа умер, а мы свободны, что можем ехать домой. Обрадовались, конечно, но ехать было не на что... Написали родне в Ригу, чтобы помогли. А пока деньги до нас дошли, уже начались разговоры, завистники появились, что, мол, по блату, не верили, что все официально, говорили, чтобы быстрее исчезли из села. И мне и маме выдали паспорта. И мы как-то пошли с ней на базар и распродали все, что у нас было: чугунку, миски, вещи, остались, в чем были. Насушили на дорогу сухарей. Волновались, кто нас повезет, потому что русским было запрещено нас возить. Договорилась с шофером из «Заготзерна», дала ему что-то. Одна латышка попросила взять с собой ее девочку, лет семи-восьми, ее должна была встретить бабушка. Дала ей мешочек сухарей с собой. И мы поехали. В Канске купили билеты до Красноярска. А у мамы началась рожа, нога распухла, уже даже синяя стала. В Красноярске билетов не достать, на улице, на скамьях провалялись с неделю, грызли сухари и запивали их водой, которую можно было достать бесплатно. Как-то ночью у нас украли и кружку. А маму за хорошую работу наградили, тогда она при-

цепила этот орден на грудь и пошла за билетами. Ей повезло, билеты достала. Но теперь надо было попасть в поезд, люди висели и на подножках... С трудом сели, но даже сидячих мест не было. Маме с ее больной ногой уступили место, подвинулись. Мы с Иевиней сидели на чемоданах, в которых были сухари, девочку иногда укладывали просто на пол. Я на полу спать не могла, выходила в тамбур и представляла, как мы въезжаем в Ригу... Приехали, кажется, после Λ иго. Мама пошла за извозчиком, я стояла, ждала ее, и мимо проходили веселые компании с цветами и травами. Приехали мы к бабушке, к маме отца, я ее совсем не знала. Папа женился против воли родителей, и его выгнали из дому. И приняла нас его мама. Жили мы там около месяца. А у нее жили еще двое из немецкой армии... Один постарше, другой молодой. Уговаривали меня, что я должна пойти учиться. Приехала родственница из Лимбажи, приглашала на молокозавод работать. Папин двоюродный брат, который бежал и вернулся из Германии со всей семьей, тоже звал нас к себе. Но я все же послушалась бабушкиных жильцов и пошла сдавать экзамены. Стыдно признаться – пошла, рассказала, что вернулась из Сибири, что окончила шесть классов в России. Ничего я не кончала! Писала диктант, алгебру проверит учительница математики. Есть ли у меня табель? Нет, потеряла. Писала что-то по-латышски о зайцах. Насчитали 20 ошибок. Стала объяснять, что училась на русском. Преподавал студент последнего курса. Брат его преподавал математику. Спрашивает, что такое угол, параллельные прямые, а как это по-латышски, не знаю. Говорю – в этом углу так... Он смеялся страшно... В школу меня все же приняли. Директором там был пожилой мужчина, дали мне месяц на подготовку, посмотрим, сказали, а пока и документы пришлют... Через месяц вызывает директор, я в слезы, рассказала всю правду. Приняли все же, и 7-й класс я окончила в Латвии.

До высылки я окончила четыре класса, в России ходила в школу как вольнослушательница. Отметки у меня были хорошие, только несколько четверок. И учителя были понимающие, спасибо всем, кто нас там учил, кто помогал, школу я окончила с хорошими оценками, поступила в Финансовый техникум.

Мама жила в деревне, когда мы вернулись, маму в Риге не прописали, ей велели исчезнуть из Риги в 24 часа, никого не интересовало, что и как. Мы тогда уехали в деревню, а я вернулась — учиться. Жила у одного из бывших папиных работников в

Агенскалнсе. Мама осталась у дяди, работала. И проблемы с пропиской начались у меня. Пошла в домоуправление, отправили в милицию, но я боялась оттуда не вернуться, и там познакомилась... Он ждал, пока я выйду. Выхожу, сидит мужчина в чекистской форме. Посадил меня, лампа в лицо светит, стал расспрашивать: говори, что надо! Разговор шел на русском языке. Я рассказала, что приехала, приняли меня в школу, что приехала легально, что мама живет в деревне, нужна прописка на время учебы. Спрашивал об отце, о брате. Разговор перешел на литературу, стали говорить о Пушкине, Лермонтове, я даже прочитала письмо Татьяны. Вероятно, это ему понравилось. И широким жестом он поставил свою подпись, что разрешает прописаться на время учебы. В жизни встречаются хорошие люди.

Я же все время боялась. В 1949 году на площади Победы мы видели... Не знаю, видела или слышала, что на площади снова стоят машины. Я еще помнила 1941 год. Сказала маме, что надо исчезнуть. Ночь провели в Марупской волости, не спали, но за нами не пришли. И когда окончила техникум,

поехала на практику в Елгаву. Но двое влюбленных не могут жить в разных городах – один в Елгаве, другой в Риге... Мы тут же поженились, и я осталась в Риге. Но работы не было, так до осени и ходила без работы. Шел 1951 год. Осенью я устроилась счетоводом в детский дом.

А что случилось с отцом? Об отце не знали ничего, но когда стали писать, нам сообщили, что отец умер в Соликамске. Просто сказали. Никаких справок не было. Однажды в Тасеево приехал молодой человек лет 25-ти, еврей, сказал, что из лагеря. Спрашивали о своих. Он сказал, что лежал на нарах напротив Рейманиса. Тот много работал, старался получить двойную пайку, был он большого роста, ему не хватало... Естественно, порции этой никому не хватало... И однажды ночью он не проснулся. Мы поверили, что это действительно он, я и сегодня не знаю, он ли это был или однофамилец... Мы все старались его подкормить, он был голоден, истосковался по латышам, всем старался сказать чтото доброе. Ему не повезло, его поймали, когда он из забора выломал доску, чтобы затопить печурку.



Зигрида с отцом Карлисом, матерью Эмилией и братом Луисом. Латвия

486 ДЕТИ СИБИРИ

Его арестовали. Через много-много лет моя подруга рассказывала, – его фамилию я не помню, странная фамилия, не то русская, не то польская, – что он приехал из Польши в Ригу с концертом в опере. Я на концерт не пошла, боялась, что за мной следят. Подруга ходила, с ним разговаривала. Живет он в Польше. Было время, когда и одна моя коллега уехала, из Польши пришел вызов. Очевидно, и он был из семьи музыкантов. Фамилию не помню.

Когда нас реабилитировали, маму, меня и брата, об отце никаких сведений не было. Я ходила к прокурору, кажется, к Зиединьшу, мне предложили написать заявление, что я знаю, что отец был в Соликамске, но данных точных нет. Спустя некоторое время пришел ответ, что и отец реабилитирован, был арестован как нелояльный к социалистическому строю, умер в 1943 году. Ни даты, ни причины. Больше ничего. Насколько знаю, из Вятлага кто-то возвращался, что-то рассказывал, а оттуда – ничего. Сейчас и искать нечего, все уже на том свете. Этот парень в России рассказывал, что всех складывали в сарае, у каждого на ноге бирка. Весной, когда земля

оттаивала, их хоронили. Суеверный ты или нет, но мама говорила – когда умру, на мою могилку ходите... А папа сказал, что ему все равно, где похоронят, не хочу, чтобы вы ко мне приходили! Так сгоряча сказанные слова исполнились...

Брат вернулся через 15 лет. Нам, когда писали, вернуться разрешили, а ему не сообщили. Потом он и сам писал, мы уже были дома. В 1955 году его отпустили, но на последний пароход он не успел, приехал через год. Там он женился, у него была доченька Илзите...

В старости многое вспоминается... Детям своим я ничего не рассказывала, было страшно, как бы они в школе не проболтались, но они, видно, и так чувствовали. Пыталась что-то рассказать внукам, вот тогда и стали оживать воспоминания... Не только мрачные, в юности все проще, есть и свои радости. Все они связаны больше с прошлыми временами, с Латвией. И когда я приехала, первым делом, может быть, конечно, не в первый день, но пошла посмотреть на фонтан возле Оперы. Решила почему-то, что сделать это надо ночью...



В последнем ряду четвертая справа Зигрида. Сибирь, Тасеево, 1947 год

ДЕТИ СИБИРИ 487



ЛУИСС РЕЙМАНИС

родился в 1924 году

Я, Луисс Рейманис, родился в 1924 году в Риге. Отцу принадлежало предприятие по переработке шерсти. Жили в Торнякалнсе, на улице Вея, 20.

14 июня 1941 года нас арестовали, привезли на станцию Торнякалнс, посадили в вагоны.

В квартиру зашли три или четыре человека, один из них был латыш. Я спросил отца, что будет, он ответил: «Вставай и одевайся, нас повезут в Россию!». Ничего больше не объяснил. Все переволновались, я тоже. Стали собирать вещи. Моей младшей сестре кто-то из солдат стал помогать – вытащил из шкафа мешки, стал складывать в них одежду, сказал, что все это пригодится.

Внизу ждал грузовик. Посадили отца, мать, нас с сестрой, привезли на товарную станцию. В вагоне уже находились люди, подвозили все новых и новых. На станции столпотворение, люди шептались, плакали. Вечером мужчин из вагона вывели, сказали, что ехать вместе с женщинами и детьми неэстетично, приедете на место, встретитесь. Чьито вещи так у мужчин и остались, они забирали с собой самые тяжелые.

На следующий день вагоны стали толкать, вытолкали с товарной станции на пути, напротив парка Аркадияс. Поехали через мост. В вагоне было два окошка, все хотели видеть, что происходит.

Один мужчина в вагоне все же остался, это был Карлис Зиединьш, начальник 10-го полицейского участка, вероятно, один мужчина в вагоне все же должен был быть. С ним были жена и

дочка.

Везли нас мимо кладбища Матиса, мимо Центральной тюрьмы – в сторону Даугавпилса. Оттуда и начался наш путь в Сибирь. Одно помню – эшелон остановился в Виляке (кажется), и я

вышел. Поезд охраняли солдаты, готовые стрелять. Я зашел за здание станции, а когда возвращался, в эшелон пустить меня не хотели. Но я подумал: мама сослана, сестра тоже, отец тоже – куда я денусь?

Когда миновали границу, все пели. Поезд остановился в Себеже, железнодорожники стали проверять вагоны. Бросилось в глаза, что рабочие были плохо одеты, черные. Везли через Москву, по объездным путям.

Что запомнилось – когда переезжали через Урал, на длинном повороте виден был весь эшелон, и паровоз. Мы были в самом конце, насчитали 40 вагонов. На Урале слева были скалы, справа – пропасть. Второй раз остановились в степи, уже в Сибири, разрешили выйти, справить свои дела. Там уж не до стыда было. В степи не спрятаться.

Приехали в Канск. Разместили нас в каком-то клубе. Местные колхозники приехали набирать рабочую силу. Выискивали, кто покрепче. Мы остались одни – я и мама с сестренкой. Потом снова погрузили в кузов и повезли в Тасеево, снова разместили в клубе. И стали собираться местные, в основном молодежь. Я русского языка не понимал, но Зиединыш сказал, что они пришли смотреть, как выглядят буржуи, удивлялись, почему это мы не толстые. Понарассказывали им, что все буржуи – толстые, не соответствовали мы их представлениям.

Стали распределять по колхозам, нас никто не взял, и отправили нас жить в дом к русским, здесь

же. Старались держаться с Зиединьшем вместе, он знал язык, из одних мест с мамой.

Работали в артели «Красный кустарь». Я обжигал кирпич. Обжиг был примитивный – глину месили

Держались мы все вместе. Да какие мы были рыбаки — у нас и подходящей одежды не было. Но зиму все же продержались.

лошадьми, формовали кирпичи вручную. Работали в основном местные, но и мы тоже. Втроем – мама, господин Зиединьш и я. Работа физическая. Местные относились к нам хорошо. Бригадир вечером приглашал в баню. Жили они тоже небогато, но была своя картошка, капуста, соленые грибы. Вместе с Зиединьшем ходил в баню, поел картошки.

Мама очень старалась. С собой были мамины вещи, одежда сестренки, старались все обменять на продукты.

Вечером под Новый год мы с Зиединьшем возили сено с лугов. Утром уедешь, затемно только и вернешься. И перед Новым годом тоже. Лошаденки хлипкие, одна упала, не встает. Зиединьш пошел за помощью, я остался в тайге. Развел костер. Лошадка издохла, пока помощь подоспела...

Меня не допрашивали, а вот Зиединьша – почему лошадь издохла, не вредительство ли это, но обошлось.

Весной пришла мне бумага – ехать на север, ловить рыбу. Мама побежала к коменданту – всех забирайте.

Взяли меня, посадили в машину, привезли в Канск, потом в Красноярск. Там на баржу и повезли на Север. Я познакомился с парнем из Даугавпилса, фамилия его была Гришанс. Он был старше меня, смастерил какой-то котелок из оцинкованной жести, договорились, что вместе будем варить кашу, там была большая плита. Там были люди разных национальностей – немцы, калмыки, другие. Они варили первыми, что только ни варили. Ну, пошел и я. Варю, а каша все темнее и темнее, котелок ведь из оцинкованной жести. Стали думать – есть или не есть, но никто ничего другого не даст, съели, и ничего, даже животы не болели.

Весной там очень красиво. Где-то на Лиго высадили нас в Игарке, какая-то болезнь завелась, дезинфекцию сделали. Мы пели, латыши по-своему отметили Янов день. Повезли дальше, и по нескольку человек по пути высаживали – Игарка, Дудинка, Караул. Мы попали в самое широкое место на Енисее, называлось оно Широкая Переправа, поселок Иннокентьевка, там нас и высадили. Людей там было очень много.

Разрешили выломать на барже доски, построить на склоне землянки, на первое время. Летом ничего, а лето на севере какое? Гор нет, только холмы, поросшие мохом. Берега песчаные.

Потом привезли стандартные домики, которые мы должны были сами собрать. А какой из меня

строитель – мальчишка! Дров нарубить мог, и все. Были там портные, хлебопеки, которые тоже никогда ничего подобного не делали. Все же кое-как мы эти домики слепили и перезимовали, хотя было холодно, печей не было, только чугунные печурки. На 18 метрах жило нас 14 или 15 человек.

Печка возле двери, нары в два этажа. Первую зиму держались вместе с Паулсом Димитерсом, он был старше, с Янисом Бендзисом, если вы читали эту книгу, то это о нас.

Держались все вместе. Да какие из нас были рыбаки – у нас и подходящей одежды не было. Но зиму все же продержались. У меня было одеяло, отрезал от него, чтобы ноги обмотать. Еще кто-то помог мне из старых веревок сплести лапти. Были и среди русских хорошие люди. Начальником у нас был Медведев. Никого не наказывал. На других точках были «штыри», там было труднее. Когда с лова возвращались, рыбку-другую захватишь домой, а это запрещалось, однако есть хотелось. Начальник никогда не стоял на берегу, не проверял, человеком был. Добрым словом хочется его помянуть.

Поставили мы эти дома. Дали нам инструмент – лом, смастерили какие-то сети. Осенью лед тонкий, прорубили, забили длинный шест, можно было затаскивать сеть. Когда лед становился толстый, дело продвигалось труднее, рыбацких навыков ни у кого не было. Я за зиму сдал килограммов 50 рыбы, но как-то выжил. Продукты выдавали по норме.

В ту зиму доставили белую муку из Канады, люди от нее страдали, ржаной муки не было, особенно плохо приходилось людям постарше, я молодой, выдержал. Это была самая трудная зима.

Дров тоже не было. Остались брусья после строительства домов, стали мы пилить их на дрова, хотя они и охранялись.

Наступило лето, и снова нас стали делить, развозить по точкам. Меня оставили на месте. А товарищей отправили.

Следующая зима была легче, мы уже попривыкли. Да и одеждой снабдили, ватными брюками. И я стал работать в бригаде с латышами из Курземе.

Научились ходить под парусом, ловили сетями. Во время войны брали всю рыбу подряд, после войны установили размер. Сначала груз надо было тащить на себе, позже научился ездить на собачьей упряжке, там собак выращивали.

Помню еще, как давали нам фронтовое задание – выловить столько-то рыбы. Осенью рыба уже не ловилась, приезжали уполномоченные, ругали,

ДЕТИ СИБИРИ 489

предупреждали. А мы задание не выполняли, просто не могли выполнить.

Весной 1945 года сообщили, что одна бригада должна спуститься еще ниже по течению. Вначале латышей в колхоз не брали, потом взяли, работали в колхозе. Нормы уже не было, сколько наловил, на столько и рулонов выдавали. На один рулон, например, можно было получить столько-то и столько граммов муки. А рулонами назывались эти бумажки потому, что были скручены в рулоны. Стало лучше, уже можно было хлеба вволю поесть.

И вот сказали, что придется ехать вниз, в Енисейский залив. У нас тогда еще собак не было. Сложил я свои пожитки в саночки, не много их и было. Шли мы десять дней, от точки до точки. Из Дорофеевска в Кентеевск, потом в Лайду и через Енисей.

Там задержались дольше, там были латыши. Направили нас в точку недалеко от Диксона – открытое море, Енисейский залив, напротив остров. Было нас четверо латышей и четверо немцев. Среди нас трое мужчин и одна женщина, и у немцев так же. Женщины работали, но больше готовили. Пошли мы к охотнику, хотя дом у него был небольшой, но один конец нежилой, так мы и жили ввосьмером в одной комнате.

Весной весь залив был забит бревнами. Вероятно, сплавляли плоты, но их поразбивало, одни бревна. Ну, мы и построили себе избушку.

Мы должны были ловить дельфинов и белых китов. Сейчас это запрещено, а тогда ловили, не знаю, для какой надобности. Были сети с ячейкой 50 сантиметров, пропитанные дегтем веревки. Потом привезли более прочные, капроновые. Сети надо было ставить, когда лед сойдет, тогда дельфины заходили в залив из Ледовитого океана. Заходят в Енисей, а плывут от мыса к мысу. Был там такой мыс, где мы ставили сети, дельфины запутаются и без воздуха задыхаются. Использовали дельфинью кожу и жир. Мясо, вероятно,



Луисс с отцом Карлисом, матерью Эмилией и сестрой Зигридой. Латвия

было предназначено на корм собакам. Все строго учитывалось, потому что от этого зависел наш заработок.

Зимой возвращались на свою стоянку, с собой у нас был бочонок с жиром, но дельфиний жир – это не свиной жир. Нам говорили, что жир солят в бочках, и кожу тоже. Кожу, вероятно, использовали на упряжь, хотя она толстая, возможно, специально обрабатывали.

На следующий год мы вернулись в Дорофеевск. Весной мы уже ездили на собаках, собачки к тому времени подросли. Конечно, было легче. Ловили три лета.

Весной 1948 года немцев вербовали на Южный Сахалин. Многие тогда уехали. Ребята еще смеялись – что значит «вербовали», надо было ехать, и все тут. В соседнем селе, в Иннокентьевке, тоже был колхоз, решили, что это нерентабельно, и объединили в один. В нашем колхозе ловилась мелкая рыба, меньше 32 сантиметров, и весной 1953 года решили

перебраться в Иннокентьевку. Там и латышей было больше, возникали семьи, появлялись на свет дети. Я тоже женился, жена моя из-под Вентспилса. Было это в 1949 году. Решили, что будем жить вместе, надо было поехать в сельсовет, как его называли «кочсовет», местные ведь кочевали. Фактически совет этот к ним приезжал.

Поехал туда, когда решили зарегистрироваться. Была там такая... фамилию не помню. Не хотелось ей, видно, к нам ехать, 60 километров на собачьей упряжке – это два дня. Сначала в Иннокентьевку, потом в Лайду. Сказала, даст документы, пусть жена распишется, а я потом привезу их обратно.

Взял я документы, дома отметили, отвез обратно недели через две, она мне выписала свидетельство о браке.

Прошло два или три года, уже и дочка родилась. Вдруг сообщили, что репрессированные не имеют права менять фамилию. Приехал чиновник, выписал новое свидетельство, на две фамилии. Жена моя



Слева: мать Эмилия, рядом Луисс. Сибирь

была Краулис, я Рейманис. Дочка еще маленькая, только смеялась.

Судьба у нас с женой была одинаковая, только она из-под Вентспилса, я из Риги. И вот на Севере встретились. Уже освоились с жизнью на севере, была одежда, навыки.

Регулярного сообщения там не было, когда мы собрались домой. Редко из Дудинки отплывал списанный катер, вероятно, военный трофей, – раз в неделю. До Лайды и обратно. Договорились, что едем домой.

Дочка подрастала, мы не хотели пускать ее в русскую школу, лучше все же в Латвии, в латышскую школу. И вот в 1956 году мы поехали домой.

Разрешение получили еще зимой 1955 года, но выехать оттуда возможности не было, самолетов тоже не было. Лето еще отработали. Сталин уже умер, жизнь стала легче. Не на Севере, конечно, морально легче – появилась надежда, что вернемся домой, все собирались в Латвию, мы тоже.

Приехали в районный центр, где собрались все чиновники и милиция. Нам нужны были паспорта.

Чиновник, выписывавший паспорта, куда-то уехал, пришлось ждать неделю. И получилось так, что как только приехал чиновник, пришвартовался и катер, который должен был отвезти нас в Дудинку. Все делалось в страшной спешке. Мне выписали еще одно свидетельство о браке, так что их у меня целых три, выдали и паспорта. Фотографии уже были готовы. В старом советском паспорте указывалось место рождения, и мне записали «Латвийская ССР, Саратовская область». Но куда деваться, пришлось с таким ехать. Жил с таким паспортом долго, пока новый не выдали.

Мама с сестрой приехали раньше, но они жили в Риге, на улице Шампетера, в маленькой комнатушке. Когда спали, ноги надо было сунуть под стол – их самих было четверо. И тетушка жены написала, чтобы приезжали в Вентспилс. Только через четыре года удалось переехать в частную квартиру. А эту получил в 1970 году, когда работал шофером в мелиорации.

Последний раз отца видел на станции в Торнякальсе, когда он вышел из вагона. И это все. Так было у многих.



В Сибири

АЙНА РЕЙНБЕРГА

родилась в 1936 году



Всю нашу семью вывезли 14 июня 1941 года. Рано утром приехала грузовая машина, нас вынесли, завернув в одеяла.

Взять с собой не разрешили ничего. Всех посадили в машину. Моросил дождь...

Кто-то из рабочих поставил в кузов бидон с молоком, для нас с сестрой. На папу надели наручники. Он был хороший человек, ничего никому не сделал. Привезли на станцию в Тукумсе, с отцом тут же разлучили. Сказали, на месте встретимся. Пока мы стояли на станции, мамина сестра привезла нам одежду, может быть, она и спасла нам жизнь.

Из Тукумса привезли в Елгаву. Там последний раз видели отца — наши вагоны оказались рядом, окошко в окошко. Отец оброс бородой, выглядел ужасно старым. Спросил, нет ли у нас кружки, из чего попить. Мы протянули ему кружку. И на этом было все. Бидончик из-под молока был с нами все время, пока ехали, — можно было набрать воды.

Прощаясь, отец сказал маме – если появится возможность, дети должны учиться. Он и тогда об этом думал.

В Зилупе нас выпустили, очевидно, чтобы могли помыться. Мы обе отстали, мама подхватила нас и побежала за поездом.

В Красноярске завели нас на пароход. Он начал тонуть, и нас высадили на берег. Обе заболели коклюшем. Укрывались одеялами. Потом нас повезли в какой-то колхоз. Там жили в каком-то строении на каких-то сваях, но как долго – не помню.

Потом повезли нас в лес. В Нижнеингашский район. Стояли там бараки, построенные в 1940 году сосланными поляками. Они умерли, и сосланные румыны умерли. Бараки фактически были на костях. Маме надо было идти работать. Она была очень маленького роста. Делала она громадные бочки для смолы, в которые входило 20 ведер. Все руки изуродовала.

Голод был чудовищный – не было ни спичек, ни соли, ни сахара, ни керосина. Жгли лучины, плели лапти, одежду носили менять на еду. Смертность была ужасная.

Остались живы только благодаря маме. В каждой семье кто-нибудь умирал. У Мирдзы Микелсоне умерла дочка от туберкулеза, и она пропала. Потом ее нашли в омуте. Еще одна женщина умерла, осталось трое детей. Вырыли могилу, весной из земли показались ноги.

Были ссыльные калмыки. Носили воду в кожаных мешках. У них была соль, добавляли в чай.

В 1943 году мне исполнилось семь лет. Мама отекла, не могла ходить, а надо было идти в лес.

У нас в лесу была посажена картошка. Мама копала, мы с сестрой носили домой. Вырыли 16 ведер. Мама сидела. Мы носили. Мама говорила – надо спасаться, а то все умрем. Если убежим, никто искать не станет.

Мама знала русский язык, хорошо вязала. Она пробовала ходить в соседнее село с сестрой. Когда картошку вырыли, она ушла вместе с сестрой. Я осталась в бараке одна, было мне семь лет.

Вода замерзла, самой пришлось идти за этими 100 граммами хлеба, а то другим достанется. Ходила попрошайничать, искала и картофельные

очистки. Заболела свинкой, в семь лет рассуждала, как старушка. Знала, что должна приложить тряпочку с золой, на меня сердились, что я все тепло из печи выгребла. Вшей было страшно много.

Отвезли нас в Елгавскую тюрьму, потом в Рижскую Центральную тюрьму, вместе с мамой. Большая камера, там мы встретили Новый



Айна с сестрой Скайдрите. Сибирь, 1951 год

Русские бедствовали, мужья были на фронте. Свиньям в корыто налили пойло, мы с Валдисом обрадовались, только бы никто не увидел. Перепрыгнули через забор и бегом к кормушке. Чего там только не было – и очистки были, вылавливали гущу, кидали на снег.

Лапти порвались. Иногда стягивали тряпками. Мама сбежала из комендатуры, идти к ней было небезопасно. Она лежала в больнице за 10 километров от села. Все-таки решили с сестрой ее навестить. Набрали черники, принесли. Когда были у мамы, одна латышка, Кронберга, сошла там с ума. Картина была ужасная, она рвала на себе одежду, кричала, чтобы облака унесли ее в Латвию. Сила в ней была такая, что она даже кровать гнула. У нее осталось двое детей – Карлис и Мирдза Кронбергсы.

Когда я жила одна, принесли мороженый турнепс. И пришли с котомкой две девочки – Инта и Рута. Мама у них умерла. Они перекрестились и попросили что-нибудь из еды. Каждой я дала по маленькому турнепсу, за это от тех, с кем жила вместе, получила хорошиий нагоняй. Я отдала им свою долю. У них умер братик, кожа на нем висела, как рубашонка.

Мама вернулась в мае, увидела меня – я стала как скелет, зато знала все, как старушка, – когда, где и что достать, где что выбросят. В магазине выпрашивала крошки. Однажды наелась вместе с мышиным пометом, рвота была. Как-то мама сказала, что лучше было бы всем вместе умереть. А мы с сестрой сказали, как бы трудно ни было, может быть, выживем и вернемся в Латвию.

Мама вязала, но за это ничего не получала. Ели мы все, даже дохлых собак и лошадей.

Зато счастье было осенью – в колхозе поспевал горох. Когда ходила пасти свиней, брала мешочек, из мышиных норок доставала горох, приносила домой. Это было лакомство.

Мама, не умея раскладывать карты, ходила по домам. Делала все, лишь бы мы выжили. Вокруг умирали многие, старые люди, вши вылезали словно бы из-под кожи. Мы подбирали и бросали в печку. Никакой помощи ни от кого не было. Люди находились в безвыходном положении.

В 1946 году сиротам разрешили уехать домой. Мы сиротами не были, но мама считалась пропавшей в лесу. Сколько людей оставалось в деревнях, сколько пропало, сколько замерзло, а кого-то и волки разорвали, разве кто знал. Мама повезла группу детей за 370 километров в Красноярск. Отвела нас в школу для глухонемых. Собралось 130 ребят – целый вагон. В Москве выдали большую одежду. Но в Ригу приехали босиком. Хорошо, что пальто были длинные, как-то ноги прикрывали. У нас был адрес людей, которые должны были принять нас в Риге, но мы его потеряли в Москве, оставили вместе с одеждой.

В детском доме на улице Кулдигас сестра заболела воспалением легких и плевритом. Ее положили в больницу. Нас кормили, но все время хотелось есть. Пекли желуди, до чего вкусно было! Привезли Юриса, он пришел и сказал сестре нашего отца, что мы в детском доме. Директор был хороший, сердечный человек. Нашлась на каком-то этаже запрещенная литература, мы стали читать, но однажды нас на этом поймали, сказали, чтобы туда

494 ДЕТИ СИБИРИ

больше ни ногой – это изданная в латвийское время литература.

К тете в Слампе приехали в ноябре. В школу не ходили, знали столько, сколько мама на дощечке угольком писала. Там же была нищета.

Мама появилась весной 1947 года совершенно без документов. Ехала на крыше вагона, на буфере, была у нее только записка от председателя поселка, что едет она к детям. Мама получила паспорт, прожила с нами до 1950 года, и в сентябре за ней снова пришли.

Донес на нее кто-то из местных, отвезли маму в Елгавскую тюрьму. Просидела она там два месяца. Нам сказала начальник почты, чтобы мы готовились, что нас тоже заберут, какая-то пришла и звонила, может быть, нам это пригодится. Мы собрались и стали ждать.

18 ноября были в школе, учились в 5-м классе, было нам по 14 лет. Учились очень хорошо. Пришла женщина, с нею два солдата. Пошли все домой, собрали, взяли и муку. Один из них заметил – зачем девочек брать? Отвезли нас в Елгавскую тюрьму, потом в Рижскую Центральную тюрьму, посадили вместе с мамой. Большая камера, там мы встретили Новый год. Все сидели вместе – и политические, и уголовные. Для детей это был шок. И опять дорога в Сибирь, прошли через семь тюрем. Везли и везли, высаживали на станциях, была охрана, ставили в строй, «шаг налево, шаг направо, считаю за побег, буду стрелять без предупреждения».

В Красноярской тюрьме заболела воспалением легких. С гнойной ангиной отвезли меня в другую зону. Посадили в камеру вместе с женщиной, у которой был грудной ребенок. По их правилам, дети в больнице не должны были умирать. Помню только, что вокруг стояли в белых халатах, и кровь. Ни с кем не считались — ни с женщинами, ни с детьми. Во всех тюрьмах водили в баню. В бане холодно, заходят солдаты, ругаются. Полное бесправие! Ночью в вагонах обыскивали, всех поднимали. Стучали молотком по вагону.

B «Черную Берту» запихивали всех подряд – и мужчин, и женщин, сколько влезет, ругали нас, что много вещей. Но мы ведь ехали навечно.

Привезли обратно, там нас обокрали, украли одежду, топоры. Ждали нас два старых барака,

построенных еще поляками, и небольшой дом. Жили вместе несколько семей. Мама пошла на лесоразработки. Были латыши и литовцы. Около 300 человек, уживались хорошо. Одна литовка каждый день давала нам литр молока, пока из дома нам не начали что-то присылать.

В конце мая пошли в 5-й класс. Написали диктант по русскому языку. У одной 35 ошибок, у другой 37. Поставили нам по единице с минусом.

И хотя это была наша вторая ссылка, по сравнению с первой это была просто экскурсия.

В 1957 году нас освободили. Сестра уехала первая. Мы задержались на два года, потом приехали сюда, в Тукумс.

В 23 года я хотела уехать обратно в Россию. У меня там была подружка, там бы я получила высшее образование.

Здесь я работала в типографии. Если на собрании говорили по-латышски, русские вставали и выходили. Везде надо было говорить и писать по-русски.

Русские мне сейчас не нравятся, много себе позволяют!

Отец обладал способностью предвидеть. Еще до высылки сказал, что взрослыми никогда нас не увидит. У него был друг, который в 1939 году уезжал в Германию, звал его с собой, но отец сказал, что лучше умрет, чем будет пресмыкаться перед немцами или перед русскими. Он прочитал стихотворение о том, что могилу его не узнает никто, будет только расти трава и петь птицы. Никто не знает, где он похоронен.

Мама говорила – как было бы хорошо лечь и не проснуться. А если вдруг приедет отец и нас не найдет? Все время жила надежда, что он вернется...

Нам было страшно, как бы мама не помешалась. Она каждую минуту готова была к тому, что ее вышлют, решила, что выпрыгнет в окно и сбежит. Скрывала от нас, что у нее есть запасы крупы, чтото уже упаковано. Умерла она в 86 лет. Говорила, чтобы молчали, а то снова вышлют. Была очень богобоязненной.

То, что натворили коммунисты, просто невероятно! Обо всем и не расскажешь...

Сейчас на пенсии, а жизнь прошла...



СКАЙДРИТЕ РЕЙНБЕРГА

родилась в 1936 году

Я родилась в Слампе 15 июля 1936 года, здесь наша семья жила из поколения в поколение. Отец был волостным старостой, мама вела хозяйство. В семье нас было четверо – отец, мать и мы, сестры-близняшки. Жили обеспеченно, ни в чем не знали нужды. Мы и представить не могли, что нас постигнет такая участь. Я – Скайдрите Рейнберга, сестра моя – Айна. 14 июня семью нашу разлучили. Больше всего пострадали семьи, которых вывезли в 1941 году. Когда вывозили второй раз, в 1949 году, высылали уже всех вместе.

14 июня, за месяц до того, как мне должно было исполниться пять лет, ночью внезапно всех разбудили, велели одеваться, одевать детей, надо уезжать. Мама не понимала, как одеваться. На отца надели наручники. Посадили в повозку. С собой ничего не взяли. Что-то на себя натянули, и повезли нас на станцию в Тукумс. Хорошо, что мамина сестра жила в Тукумсе, она принесла кое-что из одежды, иначе уехали бы в Сибирь, в чем были. Отец был в наручниках, его увели. Нечаянно встретились в Елгаве. Наши эшелоны оказались на соседних путях, через окошко он попросил у нас кружку — не из чего было даже попить. Отец сказал, что мама обязательно должна отправить дочек в школу. Так мы и расстались. Потеряли отца, когда нам было пять лет.

Посадили в телячий вагон, никаких удобств не было, дырка в полу, куда и надо было ходить. Детям было страшно, они кричали, маме приходилось нас

держать, чтобы мы в присутствии других могли оправиться. Ехали долго. Первое место, где нас выпустили из вагона, не запомнилось. Потом отвезли нас в сосновый лес, где стояли два барака, в которых до нас жили поляки. Была там и какая-то избушка. Электричества не

было, обходились дровами. Спичек не было, соли не было. Чтобы экономить спички, топили и ночью, чтобы оставались угли. В пять лет мы лишились детства. Мама работала, зимой валила деревья, пилила бревна на кругляши. Был там один-единственный мужчина — старый Янис Аунс, пенсионер. В Янов день вспоминали Латвию. Из кругляшей мама делал втулки, которые загоняли потом в сосны, чтобы стекала смола. Мороз был до 45 градусов. На сосны вешали горшочки, и в них стекала смола. Зимой маме пришлось научиться ходить на лыжах — и в гору взбираться, и съезжать с горы. Лыжи широкие, лыжа свалится, вниз уедет. Случалось и на заду вниз спускаться... Идти было трудно.

Был такой инструмент, которым сдирали кору, чтобы можно было повесить горшочек. Весной каждому отмеряли участок, с которого надо было собрать смолу. Ведра деревянные, тяжелые, сами весили около 15 килограммов, с трудом поднять можно было. Полные ведра мама таскала к землянке, наполнить надо было 200-килограммовую бочку. Работать приходилось с утра до позднего вечера. Гнус, мошка, комары, приходилось надевать сетки, какие носят пасечники. Иной раз сквозь сетку не очень-то и видно было, так они были просмолены. И все равно они проникали, весь лоб и шея были в крови. Мазались чем-то похожим на деготь. Мазали дегтем и руки. Платили только за сделанную работу. Мы оставались дома. В бараке были дети и постарше, и летом мы все отправлялись на поиски еды. Шли в лес, нам по-

ручали собирать всякие съедобные травы. Собирали крапиву, лебеду. У нас был большой котел, литров на 10, в нем варили все эти травы, но все равно на день не хватало. Испытывали постоянное чувство голода. Через час

Мама понемногу, по метру, по два воровала шерсть, чтобы связать нам с сестрой носочки. Первые наши носочки.

496

снова хотелось есть. Спрашивали у мамы – почему нет хлеба, почему нет молока... Слышали в ответ: «Мы теперь здесь живем, мы уже не в Латвии, у нас нет всего того, чего нам хочется».

Это были страшные военные годы. Не было картошки. Сестра вместе с Валдисом Штраусом ходила в ближайшие деревни, за четыре-семь километров, там люди держали скотину. Ходили просить милостыню. У русских в домах висели иконы, когда входили в дом, оборачивались к иконе, крестились и произносили: «Христа ради, подайте бедным деткам». Иногда отвечали, что к ним много таких ходит, всех не накормишь. Бывало, что и собак напустят, дверь перед самым носом захлопнут. Приносили картофельные очистки, очень редко целую картофелину. На плите пекли, под блюдцем. Наедались. Вначале и рвота была, травились. Потом узнали, что зеленые очистки надо выбрасывать. Были рады, что и такая еда есть, но и очистки бывали не всегда.

Первые годы войны были ужасные. Когда война кончилась, надеялись, что вернемся в Латвию. Одежду, что была, всю обменяли. Через три года стали сажать картошку и сами, все-таки легче. Однажды мама в лесу нашла 12 яиц, вероятно, глухариных. И добавляла по одному к баланде из травы. Получался суп с приправой.

А потом и у мамы иссякли силы. Есть было совсем нечего. И она взяла мешочек и пошла в село. Айна осталась в бараке с латышами одна. Мама оставила сестре два-три мешка с картошкой. Латыши, с которыми осталась Айна, и немка Роза быстро картошку эту съели, и сестра голодала. Был и мороженый турнепс. Сестренка заболела свинкой. Она знала, что к горлу надо прикладывать что-нибудь теплое. Когда все заснули, сестра нагребла из печки золы, насыпала в носок и приложила. И латыши без всякого зазрения совести обвинили ее в том, что она крадет из печи тепло и теперь им придется замерзать! Так она и жила там одна. Целый год. Потом разнесся слух, что мама умерла, а вторая сестра это я – побирается. Была весна, распутица. Мама пришла босиком в село за сестрой. Вторую с собой брать нельзя было.

Почему нельзя? Боялась. Ходить надо было. Мама вязала. Я должна была теребить шерсть, мама пряла и вязала носки, рукавицы, но чаще всего вязала большие платки, окантованные кружевами. За ними выстраивалась очередь. Мама и ходила из дома в дом, вязала. Мама понемногу, по метру, по два воровала шерсть, чтобы связать нам с сестрой

носочки. Первые наши носочки. Хорошо, что у заказчика можно украсть пару метров, какая бы ни была шерсть, у нас были носки.

У меня заболели глаза, красные стали, как мясо. На свет смотреть не могла, глаза не открывались, ничего не видела... Одна женщина, Анна, сказала, что умеет ворожить, сведет любую болезнь, велела привести меня к ней на закате солнца. Она произнесла какие-то слова, плюнула мне в глаза. Мне стало лучше, стала видеть. Мама думала уже, что я ослепну... И сейчас, в мои 69 лет, газету читаю без очков.

Настал 1946 год. Сироты могли вернуться в Латвию, но не было никого, кто бы решился отвезти детей в Красноярск. Мама не пошла на работу. Собрала группки по три-четыре человека, больше брать боялась, могли и вернуть. И мама шла через лес, обходными путями, и через неделю привела несколько групп в Красноярск. А это 370 километров. Всю неделю ходила туда и обратно. И вот осенью, в октябре или в ноябре, мы оказались в Латвии. Два или три месяца жили в детском доме. Когда о нас узнала папина сестра, она нас забрала. Через год домой неожиданно вернулась мама. Как же обрадовались! Думали – будем жить, будем работать... Но жить так довелось недолго.

Когда мы вернулись, нам было по 10 лет. Ни говорить, ни писать по-латышски не умели.

Маму сдала ее напарница, доярка. Мама работала, а та, вторая, молодая, по вечеринкам бегала, утром и проспать могла. Пошла на почту в Слампе, позвонила в чека и сказала, что Луция Рейнберга самовольно сбежала из Сибири. Узнали мы об этом на почте, от начальницы, случилось это в 1950 году. «Не говорите только никому, но выдала вас Лилия Приеде». Мы никому не сказали, но знали, кто нас сдал.

Самые тяжелые годы — 1942-й, 1943-й, когда нечего было есть. Мама заболела, попала в больницу. Мы с сестрой думали, что мама умрет, и мы останемся одни. Шли к маме через лес, наберем ягод, черники, приходили проведать. Видели, как какая-то женщина ходит по палате, это оказалась Кронберга, возденет руки к небу и зовет: «Милые облачка, спуститесь на землю, унесите меня в мою дорогую Латвию!». Мы с сестрой так радовались, что она поедет в Латвию. Забегали к маме в палату и радостно сообщали, что и мы уедем в Латвию, мама пусть только попросит ее, чтобы и нас взяла. Спрашивали, плотные ли облака, не провалимся ли мы... Мама заплакала, обняла нас и сказала, что женщина эта умом тронулась, не понимает, что говорит. Приехали двое

мужчин, надели на эту женщину мешок с отверстием для головы. Сказали: «Ну, Кронберга, поедем!». И она так радостно: «Да, да, спасибо, меня увезут в Латвию, я так рада!». Мы стали спрашивать, почему мама не попросится тоже, на что мама ответила, что женщину эту отвезут в сумасшедший дом. Сказала, чтобы мы угостили ее черникой. Она взяла и стала рассыпать ягоды по полу, приговаривая: «Наконец я и деток своих покормлю!». Весь пол был в раздавленных ягодах. Пришла санитарка с ведром и тряпкой, велела нам с сестрой все убрать, так как ягоды принесли мы. И стали мы тереть пол, но чище он не становился. И тут больные принялись ругать санитарку, которая заставила детей это делать, они ведь хотели, как лучше, а теперь их наказывают! Я так ясно помню этот момент, как будто все произошло вчера.

Жена начальника станции Слампе тоже сошла с ума от голода, от этой чудовищной жизни. Высылку 1949 года и сравнить нельзя с первой, стало все-таки уже легче. Второй раз нас взяли в 1950 году. В те годы жизнь там уже не была такой трудной.

Маму выдали. Два месяца она пробыла в тюрьме. Мы с сестрой ходили в 5-й класс в Слампе. Вошли двое, с оружием, сказали, что надо ехать. Отвели домой, связали мы в узелок наши вещички, а я подумала: «Если бы у солдат не было оружия, мы смогли бы убежать». Кто знает, может быть, нас застрелили бы, а может быть, и нет.

Через Слампе шел поезд Вентспилс – Рига. Отвезли нас в Елгаву к маме. И снова долгая дорога. Из Елгавской тюрьмы в Рижскую, потом семь месяцев по тюрьмам России. В одной камере было по 50–60 человек. Утром вызывали всех в коридор – на проверку, называли фамилию, и ты должен был сделать шаг вперед и ответить «Есть!». Везли в вагонах с решетками на окнах. Там, где нас высаживали, перрона не было, приходилось спрыгивать, нас уже ждала «Черная Берта», запихивали, двери закрывали, хорошо, что мы там не задохнулись.

Машину набивали битком. И снова тюрьма, снова «шаг влево, шаг вправо», и так каждый раз. А нам по 14 лет... Прошли через семь тюрем... Разве такое забудешь! Часто давали чай. Нам, детям,



Скайдрите (слева) и Айна

давали и подгоревшее молоко. Обычно была селедка и кусочек хлеба.

Попали мы в то же самое место. Встретила нас Екабсоне, из Слампе. Обе с мамой расплакались, и она сказала: «Что ты-то, Луция, плачешь, дети ведь с тобой, а у меня дочку отняли, 17 лет ей, не знаю, где она сейчас...». Только после войны она узнала, что ее дочь в Комсомольске...

Мама прожила до 93 лет. Умерла шесть лет назад. О Сибири мы и не хотели, и не могли говорить, мама сразу принималась плакать. И так каждый год, как только приближалась эта дата, она повторяла: «Как бы на сей раз не увезли!». Мы ее успокаивали, но она говорила: раз увезли, два увезли, и третий раз это может повториться!

Когда привезли нас второй раз, мы тоже должны были идти работать. Ходили втроем собирать смолу. Ведра тяжелые, я маленькая. Отработаем, идем по ягоды. А какая там была черная смородина, какой шиповник! Сказочные! Заваривали чай и пили. Я кашляла кровью, люди говорили, что я должна обязательно есть хвойные почки, толстенькие такие, горькие, смолистые. В день обязательно надо было съесть две-три. Мама заставляла. Было это во время первой ссылки. Мама говорила, что иначе мы умрем. А жить хотелось! Приходили в лес, ели. Росли там и царские лилии. Их тоже ели, корешки. Вкусные, но выкопать их стоило труда. Была черемша, на вкус как чеснок. Соли не было, так мы просто нарезали ее и складывали в банки на зиму. Это и помогло нам выжить.

И все же, несмотря на это, многие умерли. Была такая Анна Хофелдс, у нее умерла сестра Вайра, и старик Аунс умер. Не могли всего этого вынести. С 1941-го до 1946 года голодали, ели даже мясо издохших лошадей. Где доставали? Те, кто ходил менять вещи, знали, где и что. Лошадей кормить было нечем, вот хозяева их и забивали. Сначала отварят березовые сучья, чтобы они стали твердыми, скармливают, они протыкают лошадям кишки, животные истекают кровью и умирают. Для нас это было спасение, возможность поесть мяса. Женщины сговорятся: «Пойдем утром, отрежем по хорошему куску!» А на улице мороз 40 градусов. И отрубить не так-то просто...

Была среди нас очень энергичная женщина – Зейденберга, говорили о ней, что ягнят ворует по селам. Потом оказалось, что это маленькие собаки, она собачатиной детей своих кормила, недалеко от барака нашли собачьи шкурки и головы. Ее

поймали. Женщина эта умерла, дети остались живы. Младший Имантс, Эдвинс и Янис. Младший, кажется, умер, о них ничего неизвестно.

Сослали второй раз нас в 1950 году. Было, конечно, уже не так трудно. Очереди за хлебом были, но, если выстоишь, свою буханку получишь, стой хоть каждый день! Хлеб был, картошка была, не голодали. В 1950 году и одежда появилась. И все равно эти годы вспоминаются, как бред: сегодня ты есть, завтра тебя может и не быть.

Во сне Сибирь вижу редко. И всегда какое-то внутри беспокойство: как попаду домой? Проснусь, вскочу – да я же в Латвии!

Мама Сибири боялась. На ферме в «Минстери» доила коров. Вдруг идут «истребители»! Так она от страха в окно выпрыгнула, в кустах спряталась. Наутро приходит вторая доярка – никуда, говорит, не вывозят. Они на праздник все фермы охраняли, чтобы не поджег кто. В день, когда вывозили, лекарство пришлось давать, так она нервничала.

А что случилось с отцом? Ничего о нем не знали, писали, интересовались, отовсюду отвечали, что сведений никаких нет. Только сейчас, когда реабилитировали, узнали, что после июня 1941 года он прожил чуть больше трех месяцев. Причина смерти не указана — от голода, или как... Может быть, сам на себя руки наложил. И сегодня об этом ничего не знаем, может быть, от голода... Он был крупный, здоровяк, на супе из травы выдержать не мог... Можем только гадать. Отец был в Вятлаге. Нам вернули его паспорт, где лежала мамина фотокарточка.

В 1956 году мне было 20 лет. Я не умела читать. Нам дали адрес, куда мы должны были отправить письмо, что наша семья ничего антигосударственного не совершила, что мы с мамой одни, разрешите вернуться в Латвию. Ответа не было. Теперь увидела, что письмо наше попало в чека, в КГБ.

Мама знала, что отец в Вятлаге... А отвечали, что не знают, где он.

Нас же везли на уничтожение. Не давали продуктов, все надо было доставать самим. Когда молотили хлеб, ходили с мешочками, подбирали колоски. А тут прискачут надсмотрщики с кнутом, били, не жалели. Мама убежала, в лесу спряталась, но потом зерно домой принесла. Мы играли в игру, которая называлась «мышки». Придумали мальчишки. Подвешивали мешочек с зерном к потолку, чтобы «мышки» не достали, а сами грызли. Мы, внизу, и были мышками. Если зернышко падало на пол, мы его тут же подбирали. Самая интересная была игра...



АЙЯ РЕКЕ

родилась в 1928 году

Я, Айя Реке, родилась в 1928 году – коренная рижанка. В семье было нас трое – мама, папа и я. Жили на маленькой улочке в районе Тейки – на улочке Залкшу. Дружная, замечательна семья, которую разрушили в один день – 14 июня... Папа в то время в полиции уже не работал. До этого проработал в полиции 17 лет – почти с первых лет существования свободной Латвии. Был за хорошую работу награжден орденом Виестура второй степени. Мама, пока я была маленькая, не работала, потом устроилась на знаменитую у нас в свое время фабрику «Данцигер», сначала простым мастером, потом заведовала отделением.

И нашу гармоничную жизнь оборвало 14 июня. Улочка наша была маленькая, все соседи жили дружно, дети все вместе играли на улице. Последний вечер ярко отложился в памяти... Почему-то не хотелось расставаться. Летний вечер, мама зовет домой... Отец в последний год работал на станции Шкиротава, на путях. В тот день ему выдали зарплату. Отец не пил, не курил, но в тот день, на работе, они отмечали получку, и он немного выпил. Я помню, как сидя за столом, он говорил маме: «Женушка, дорогая, давай сбежим в лес. Будет плохо!». И рассказал, что на железнодорожные пути в Шкиротаву пригнали зарешеченные товарные вагоны. Мама стала возражать – но ты же не состоял ни в какой организации, и айзсаргом не был, нечего волноваться. И все же у папы было какое-то недоброе

предчувствие. Мама стала его убеждать: «Ну как можно сейчас все бросить? Все, что у нас было, все, что за жизнь скопили, что заработали, – все бросить и бежать неизвестно куда!». Папа продолжал настаивать на своем, но мама, вы подумайте, его отговорила!

У маминой сестры в Добеле был свой дом, можно было уехать туда на несколько дней, переждать. Жизнь могла сложиться совсем по-другому, если бы мы узнали, что нас ищут. И мы остались дома.

В половине пятого утра раздался сильный стук в дверь. Я не слышала, рассказала потом мама. И когда мама подошла и стала меня будить так рано, я не могла понять, зачем. Конечно, было светло, ведь было лето. И я увидела вооруженных мужчин, стоявших возле двери, тех, кто ходил за мамой и за папой по пятам. Отец что-то укладывал в чемоданы, мама выбрасывала – «Зачем все это нужно! Нас все равно везут на расстрел!».

Ссылка 1941 года для людей, живших в свободном государстве, была страшным шоком – тебя могут забрать, куда-то увезти!.. Да просто расстрелять! Другой мысли не было! С большими муками собрали пару чемоданов. Для меня, вероятно, этот первый момент был не столь шокирующим. Кто в 13 лет способен был понять весь трагизм происходившего? Предвидеть, чем это кончиться и как будет продолжаться. Через 20 минут нас уже посадили в машину.

В доме у нас любили животных, был у нас черный котенок. Он подбежал к машине, я взяла его на руки, у меня его вырвали и бросили на землю: «Ты что это тут!» и все в таком же духе. Вот тут глаза у меня стали как блюдца!

В ту ночь всех троих посадили в вагон – до следующего вечера. Следующим вечером, можно сказать,

ночью, двери вагона с грохотом открылись и стали вызывать всех мужчин – мужей, отцов, братьев.

Вот тут со мной был шок – эти крики, эти вопли я и сейчас еще слышу по ночам, когда не спится. Когда

Все, что у нас было, все, что за жизнь скопили, что заработали, – все бросить и бежать неизвестно куда!

тысячи людей начинают кричать в голос — ведь в каждой семье кого-то забирали. Это был неописуемый хаос. Нас, конечно, успокаивали, говорили, что встретимся, когда приедем на место. Конечно, все это был обман... Отца я больше не видела. И только сейчас, когда пришли документы о реабилитации, мы узнали, что он погиб в том же 1941 году, в декабре, в Соликамске, в Усольлаге. В свидетельстве о смерти стоит — «Причина смерти неизвестна». Обычная отписка. Или расстрелян, или еще что-то.

После долгого и трудного пути оказались мы в колхозе Томской области, Каргасокский район, село Чукалинка. Прожили там три года. В колхозе этом был тотальный голод, может быть, спасли нас те два чемодана. Папа уехал ни с чем... Стали менять вещи. Да сами русские жили ужасно бедно. Они сами за 10 лет до этого были сюда сосланы.

Промучились мы три года, и зимой маму взяли в леспромхоз. А мы уезжали летом, и работать при 40-градусном морозе, когда нет ни обуви, ни одежды... из одеял шили какие-то кофты. Мама когда-то научилась вязать крючком тапки, и единственное, что можно было достать, остатки пакли у рыбаков, и вот из этой пакли пряли нитки. Какой-то кузнец смастерил маме из большого гвоздя крючок, и стала она вязать тапки из пакли, пришивала тряпичные голенища – из мешковины. Так и ходили на лесоразработки, ничего другого не было и в помине.

Осталась я в этой деревне одна. Было мне тогда лет 15–16. И вот весной получаю я от мамы записку, что там все-таки лучше, не тотальный голод, как в колхозе, она договорилась с комендантом, что останется работать в Леспромхозе. И я тотчас собралась и поехала к маме. Но добраться оказалось не так-то просто - можно или летом по воде, или по зимней дороге через болота, реки и т.д. Мама не могла меня дождаться, и встретились мы на полпути в селе – мама ехала ко мне. А могли ведь и разминуться. Стоим посреди улицы, плачем – что теперь делать? Увидел нас бывший наш бригадир: «Кого я вижу! Это ты, Зелма, да с дочкой! Давай ко мне, я с комендантом договорюсь!» Здесь, говорит, можно хоть какую-то копейку заработать, я тебе и квартирку дам, живи здесь, говорит. Так мы и остались в Славгородке. Там и прошли все мои годы вплоть до 1955-го, когда пришло освобождение.

Там у нас скипидарный завод. Работали в лесу, корчевали пни – когда-то был пожар, обгоревшие стволы, надо было пилить, колоть, корчевать, складывать – такая была у нас работа.

Был и бондарный цех, где мы сами делали досточки для бочек. Посылали меня, я была молодая, сильная. Летом заготавливали продукцию, зимой вывозили. Дадут быка, вот и мучаешься с ним целый день в лесу. Снег по пояс, тайга, это тебе не Межапарк, быка за повод тянуть приходится, а это не лошадь, двигается медленно. Сейчас вспоминаешь, и все это кажется сном, – как такое можно было выдержать!

Позже, когда стали платить деньги, можно было купить самое необходимое — ватные брюки, валенки, ватник, специально для леса одежда. Но ведь и потели, рукавицы становились мокрые. Вечером, когда уже домой собираешься, когда всю продукция сдал, цикл на 24 часа, сядешь на быка, естественно, на последнего, если на первого сядешь, последний так на месте и останется, с места не сдвинется. Пока домой доберешься, все на тебе замерзнет. И так изо дня в день, никаких перемен...

И если зимой мороз донимает, то летом мошкара – комары, гнус. Это просто ужас! Мошка – такая крохотная-крохотная мушка, и как только к горлу или к рукам подберется, все в красных точках, и пухнет. Обматывались старыми рыбацкими сетями, пропитанными дегтем. Только тогда это их немного отпугивало. И представьте – выходит человек из лесу, наработался, по два с половиной кубометра на каждого – пилить надо было вдвоем, двуручной пилой – в таком виде и мать родная не узнает. Только зубы и глаза видны. Вот такая была моя трудовая жизнь...

А с мамой на этом заводе произошло несчастье... Трудно мне даже объяснить... Было там чтото похожее на колодезный журавль, и когда продукция была готова, ведром ее вычерпывали из этого котла, снимали крышку, под ней решетка, трое на нее налегали, чтобы поднять и опустить ведро в котел. И вдруг оборвалась веревка, и эта решетка с грохотом упала, противовес не сработал, маме по голове досталось... Она вернулась с завода, еще дня четыре-пять пролежала без всякой помощи и так и ушла... И осталась я совсем одна... Случилось это в 1948 году, я уже не такая и девчонка была... Об отце мама знала еще там – что он умер. Ни где, ни как, просто знала, что умер. Все женщины, которые без мужей там остались, все писали в Москву, интересовались. Знаю только, что маму вызвали в контору. И когда я увидела ее, вернувшуюся, я поняла, что случилось что-то очень плохое. Мама буквально упала на лавку и произнесла: «Доченька, папу своего мы

больше никогда не увидим... Папочка умер...». Так что я еще в России знала, что никогда больше его не встречу. Когда пришли документы о реабилитации, я просила показать мне дело отца, но мне не показали, только прокурор Упмаце прислала бумагу: «Видите ли, ваш отец 17 лет проработал в полиции, был награжден орденом Виестура второй степени, но никаких свидетельств в деле вашего отца нет!».

Дружили ли вы там с кем-нибудь? Ну, конечно! Молодость есть молодость... Девушки все жили очень дружно, и русские девушки были. У меня и кавалер там был. Когда меня освободили, он мне сказал: «Ты сама должна решать! Как решишь, так и будет!». Видно, любовь к Родине оказалась сильнее! За эти 14 лет так наболело! Хотя, трудно сказать... Первые годы так все рвались домой, все собирались. А когда минует с десяток лет, уже и надежды слабеют, зато тоска ужасная... Связи с родственниками не прерывались. Хотя родня у меня небольшая, но и те, кто был, меня не бросили... Мне помогали... Фактически я должна быть благодарна и своей подруге, дочери хозяйки, у которой мы снимали комна-

ту на улице Залкша. Если бы она меня не приняла... в то время мне не к кому было приехать...

Здесь у меня был дедушка – мамин отец, он ждал меня 14 лет. Той зимой, когда меня освободили, он умер... Ему было больше 90 лет. Так что точки опоры у меня уже не было. Так вот и приняла меня подружка, дочь хозяйки квартиры, которую мы когда-то снимали. Мы и сейчас, все мои подружки, собираемся, юбилеи отмечаем. Мне посчастливилось, что в детстве у меня были такие друзья, у меня прекрасные воспоминания о детстве...

Я очень люблю свою дочь. Ради нее я готова отдать последнее. У меня замечательная внучка, учится в Академии полиции. Сейчас я своей жизнью довольна. Дети у меня замечательные – ну что еще можно желать в моем возрасте? У меня замечательные коллеги в Обществе репрессированных, мы держимся все вместе. В самоуправление я иду с большой радостью – в мои приемные часы приходят репрессированные со своими вопросами, проблемами, мы собираемся 25 марта, 14 июня... Отмечаем Рождество, 18 ноября. Когда мы вместе – для нас это самый большой праздник.



Айя с матерью

ДЗИДРА РЕКЕ

родилась в 1932 году



Вывезли нас 14 июня 1941 года – в то утро страшно лаяли собаки, женщины пришли сажать капусту, отец тоже был в поле. За отцом приехали, привезли домой. Сказали, что нас высылают. Сложили, что могли, но ведь все с собой не возьмешь... Привезли в Лиепаю, стояли там дня два. Все время выглядывали в окошко. Везли недели три. В дороге воды, чтобы умыться, не было. За Уралом выпустили. Лил дождь, и люди без стеснения мылись возле самой насыпи, ведь не мылись три недели. В дороге давали соленый хлеб, вначале есть его никто не хотел. Была и пшенная каша. Мы захватили с собой копченое сало.

Пришли за нами в девять утра. Дома была мама, по-русски она не разговаривала. Привезли из Олавы папину сестру, чтобы присматривала за скотиной – дом оставался пустой... На сборы времени дали мало.

Интересно, что парень из деревни, где мы потом жили, служил в Лиепае. Когда он вернулся, узнал нас, спросил, не из Гробиняс ли мы. Он нас и вывозил...

Иногда в вагон приносили теплую воду, могли попить. С едой было не очень... Высадили в Красноярске, на большой площади. Дальше плыли на пароходе. Из колхозов приехали председатели, разбирали работников. Я смелая была, села в лодку, чтобы нас перевезли через реку, а лодка на вид была ненадежная, мама кричала, чтобы я не садилась, что лодка утонет. Перебрались на другой берег.

В первые годы было трудно. Ничего не вырастили. Скажу откровенно – научились воровать. Поселили нас к русским. Их сын осенью привозил домой ящики с зерном. У мамы был котелок, и мы с соседским мальчишкой забирались, таскали зерно. Один из ребятишек хотел вести нас в контору, пожаловаться, что мы воруем. Но другие ребята на него набросились – детям есть нечего. Ночью смололи это зерно, вот и еда.

Жили мы в 250 километрах от Красноярска. Сначала жили в Канске, потом в Новоселово.

Мама работала на ферме, мы, дети, сидели дома. Русские дети приходили нас пугать. Мы запирали двери. Иногда ходили к маме попить молока — летом, на луг. Русские женщины ни слова не говорили. Но одна все же нас выдала. Пришел бригадир и сказал, что он тоже хочет молока. Мама сказала, что нет посуды. «А как же дети пьют?» — только и спросил он, но последствий не было.

Когда подросла, стала пасти овец. За это можно было получить тарелку супа. Денег мы не видели. В последние годы – мне было уже 17 – заделалась свинаркой, стала хорошо одеваться. После войны в Россию стали присылать одежду. В первые годы не было ничего – ни сахара, ни муки... Нищета...

Как жили — это не рассказать... Ели павших телят. Весной все, местные тоже, варили крапиву. Крапиву набирали с трудом... Мамин брат прислал нам посылочку и деньги, и мама купила картошку. Надо было через Чулым перебраться, чтобы посадить. В лодке было много народу, и лодка затонула со всей картошкой. Маму спас какой-то мужчина, иначе она бы тоже утонула. О русских ни одного плохого слова не могу сказать.

Однажды какой-то мальчишка бросил меня в

воду, в реку. Не знаю, как научилась я двум русским словам – «жопа» и «черт», но когда он меня бросил, я этими словами его и выругала. Конечно, спустя много лет, когда перезнакомились, я все забыла.

Умамы совсем не было сил... Однажды смотрим – она вдруг такая круглая стала, от голода всю ее водой раздуло...

Помню, как мама ходила с сумой в соседнее село. У мамы совсем не было сил... Однажды смотрим – она вдруг такая круглая стала, от голода всю ее водой раздуло... Машин не было, но маму доставили в больницу в Новоселово. Врачи сказали, что если бы привезли на день позже, она своих детей больше не увидела бы... Это было ужасно...

Когда началась вторая Атмода, мама живо все воспринимала, очень переживала...

В Сибири в школу пошла на следующий год. Кажется, уже и работать ходила. Писать было нечем, достали мне чернила, но мальчишки вылили. Школа была в Новоселово, брат там окончил восемь классов. Мне не удалось – как окончила в Гробиняс 1-й класс, так меня и сослали.

Зимой счастье было, что жили там отец с сыном – они привозили дрова, топили, так что у нас с этим забот не было. Спали на полу, кроватей не было. Брат был маленький, хотелось есть, ходили пить молоко... Печальные воспоминания...

Весной все ждали, когда появится крапива. Ошпаренная, она была даже вкусная. Потом ели лебеду, грибы. Воровали зерно – носили в рукавицах, в шапке. Было там одно место, куда складывали семенной картофель. Все латышки туда ходили... Весной там уже было пусто, но никого не отдали под суд... Вначале я вспоминала Латвию. Позже, когда все сдружились, отвыкла.

В 1946 году – не знаю почему, но мы остались. В деревне было, наверное, шесть латышских семей,



Дзидра (первая слева) в Сибири

и все уехали. Мы остались одни и перебрались в Новоселово. Мама осенью уехала туда первая, а меня не отпускали до конца уборки. Я уже работала. Осталась я одна латышка. И только когда все смолотили, только тогда и отпустили.

Думаю вот – русские всю жизнь здесь прожили, латышский не могут выучить, мы освоили за полгода... Так мы жили в Сибири...

Мы, ребята постарше, все время хотели есть, и если видели у кого-то еду – тут же отбирали.

В Сибири зимы очень холодные, зато летом там красиво. Земляника, цветы, лилии. Богатая земля. Мы думали – если бы такая земля была в Латвии, то у каждого латыша была бы не только машина, но и самолет. Русские были хорошие, но они ленивые. Женщины на сенокосе, а мужчины на печи. С войны пришли инвалиды, было и несколько мужчин.

Зимой работы у меня было много – возила свиньям воду из проруби. Руки ни на что не похожи... Нам посчастливилось вернуться домой, но сколько тех, кто не вернулся... Я удивляюсь, как Бирзниекс вернулся из лагеря. В Латвии он был министром. Его никуда не хотели брать на работу, его парализовало, там он и умер, в больнице.

Отец командовал айзсаргами, его отправили в Киров. Один еврей, который вернулся оттуда, рассказывал, что были моменты, когда он приносил отцу пить, а потом и отец приносил ему воды. Отца расстреляли. Он знал, что его расстреляют. Когда ночью его вызвали, он этому еврею сказал: «Прощай, друг!..» Это было в феврале 1942 года.

Отец был образованный молодой человек, принимал участие во всех мероприятиях в Гробиняс.

А у меня один класс за плечами... Все удивляются, как быстро я считаю в уме.

Хотелось вернуться в Латвию? Мне не очень, мама хотела. У меня в Сибири появились подруги, друзья... Но все-таки приехали.

В Новоселове мы купили дом.

В Гробиняс наш дом сожгли – рядом жили евреи, когда их в немецкое время хотели ликвидировать, они сожгли свой дом, сгорел и наш.

Жена маминого брата приняла нас, спасибо ей за это. Осенью пошли работать в колхоз. Пригласили нас на осенний бал, дядья играли в духовом оркестре. Когда я слушала, слезы наворачивались на глаза.



Дзидра с сестрой Велтой

Мамина двоюродная сестра жила в «Тилти», мы у нее жили примерно девять месяцев – была работа на лесопилке, в деревообрабатывающей промышленности. Потом освободилось жилье в другом месте, и мы переехали. В «Тилти» мы прожили примерно 13 лет, на лесопилке можно было хорошо заработать. Работала в две смены... Жизнь пришлось начинать сначала, было не до учебы, хотя голова у меня была неплохая. Россия все порушила...

В Новоселове жили семь лет. Бирзниекс писал прошение, чтобы отпустили домой. После третьего заявления нам разрешили уехать.

Устроили прощальную вечеринку...

Какие же там могучие реки! Даугава, Гауя – речушки по сравнению с Енисеем... Научилась плавать.

Вначале тосковала по Сибири. Привыкла жить в деревне, где дома стоят рядом. Все встречаются, видят друг друга, а здесь ни одного человека...

Брат в Сибири разговаривал по-русски. Дома с мамой говорили по-латышски. В Латвии он не стеснялся.

Иду в Лиепае по базару, одежда на мне еще сибирская – платок с бахромой, ватник, как на настоящей русской. Слышу со спины: «Смотри, снова русские понаехали...» Ощущение было странное... Русские действительно понаехали – в Лиепае латышскую речь редко можно было услышать...



Где наша не пропадала!



Дзидра (слева) в Сибири

ИМАНТС РЕКИС

родился в 1939 году



В семье были отец, мать, две сестры. Жили в Гробиняс до 14 июня 1941 года.

Как рассказывала мама, 14 июня ночью постучали, мужчины с оружием приказали за 15–20 минут собрать вещи, и нас увезли. Мама была верующая, но Библию взять не разрешили, такие вещи выбрасывали. Насколько я знаю, с другими семьями обходились более человечно. Когда высылали, сказали: мужчины поедут первыми, построят дома и встретят вас горячим чаем.

Чистое издевательство со стороны чекистов. Не скажут же они, что везут нас в Сибирь. Собирали на дюнах Ильгю. Были и из латышей попутчики. Людей били. Было и такое. Затолкали в телячьи вагоны подростков, детей, стариков. Мужчин и юношей посадили в другой эшелон, который стоял на соседних путях.

В Елгаве отца выпустили, он принес нам деньги, позаботился о нас. Привезли нас в Новоселовский район Красноярской области, в деревню Камчатка. Сразу же надо было идти работать. Удивляюсь, как я выдержал целый месяц в телячьем вагоне. Мама рассказывала, что какая-то девочка в вагоне до того достеснялась, что у нее лопнул мочевой пузырь. Она умерла.

Когда приехали на место, у какой-то женщины начались роды, вызвали врача. Пришел врач в залатанной одежде, вот тогда-то и увидели эту нищету. Женщину вынесли из вагона на простынях, оста-

вили на земле, и началась гроза. Такие вот были нечеловеческие условия. Из Красноярска нас: латышей, литовцев, эстонцев, поволжских немцев повезли на пароходе. С деревне жили в бараках. Матери пошли на работу. Их заставили подписаться на трехпроцентные

облигации, но денег не было, на что комендант сказал, что они, видно, плохо работают, раз нет денег. Вызвали председателя, смотрят – у мамы 900 трудодней. А денег за работу не давали. Угрожая оружием, велели подписаться.

Ели жмых, что дают скоту, – как конфеты. Потом отравились, началась дизентерия. Поволжские немцы научили нас есть сусликов – на вкус как мясо птицы. Лебеду, крапиву. Так питались не только мы, но и местные. Пекли лепешки из крапивы, варили суп из лебеды. Может, от этого у меня в 65 лет все зубы свои. Сибирская закалка, витамины.

Мама работала – днем дояркой, ночью протравливала семена. От голода распухла, ели и ячменную полову, еще и сейчас бывает такое чувство, что застряла она в горле. Сестры были взрослые, ходили пасти скот, работали на ферме. Старшая сестра Велта после войны выучилась на портниху. Она была человек верующий. Когда она умерла, положили ей с собой Библию.

Вначале в Сибири все родственники жили вместе, и мамина сестра с детьми. Это были колхозные времена. Мама уходила на работу – мы еще спали, мама приходила с работы – мы уже спали. Материнской любви не знали. Дзидра говорит, что только благодаря мне – тогда полуторагодовалому – мы остались живы. Вербовали за Полярный круг – нужны были рыбаки. Вероятно, были и там хорошие люди, сжалилось чье-то сердце над мамой. Это мы так думаем.

Продавали одежду. Мама сказала, что с обручальным кольцом не расстанется. Потом у нее кольцо украли. Чтобы выжить, надо было воровать. В колхозных погребах хранился семенной картофель. Один

В школу ходил с 1-го по 8-й класс. Когда вернулись в Латвию, хотел учиться. Но мы везде были неугодны.

латышский парнишка нашел ход, и через щелку потихоньку да помаленьку картошку вытаскивали. Пошли весной русские проверять, кража и раскрылась. Поставили медвежий капкан. Один из ребят в последнюю минуту заметил капкан в сугробе, а то бы без ноги остался.

В 1953 году стали все писать письма в Москву, Швернику, в Латвию. Поучили отказ. В 1957 году я подрабатывал в больнице — заготавливал дрова. Домой 50 километров шел пешком. Прихожу, русские ребята бегут навстречу — вы свободны. Я не поверил. Потом сестра сказала, что это правда.

Приехали мы одними из последних. Несколько семей остались, еще и сейчас там живут. Замуж вышли, переженились, у кого-то жена немка и пр. Мы хотели ехать, но маме сказали – подожди, пытались отговаривать. У нас был свой дом. Расставаться с Россией было трудно, там были друзья. А когда привезли, мама рассказывала, что высадили на камни. Как звери. И обзывали фашистами, кулаками. Заморочили им голову.

Продали мы свой дом одному русскому. Денег у него не было, обещал прислать. Мы думали, не пришлет, но через полгода деньги пришли. Русские были люди сердечные, гостеприимные. Природа там – не описать. Скалы, горы, могучие реки, пароходы.

В школу ходил с 1-го по 8-й класс. Когда вернулись в Латвию, хотел учиться. Но мы везде были неугодны. В Гробиняс сказали, чтобы брали участок и



Имантс (справа). Сибирь

строились. Мама как рассуждала – начнем строиться, а потом снова все национализируют? До этого у нас был большой дом, сад, хозяйство. Маме сказали, чтобы шла в колхоз, там тоже люди живут. А мама им: 17 лет в колхозе работали, добра не нажили. Мы, дети, все трое пошли работать в МРС, в цех ширпотреба, в «Тилти». Купили скотину. И вскоре все стали обзаводиться семьями.

В свой дом не попали, он сгорел. Жил рядом один еврей, не хотел, чтобы дом его во время войны достался немцам или русским, подпустил огонь. Сгорел и его дом, и наш. Когда мы приехали, на фундаменте нашего дома построили новый дом, по нашей земле проложили шоссе. В 1991 году получили за все это компенсационные сертификаты, за копейки продали, чтобы выжить. Только на сей раз уже здесь.

В России пошел в школу, когда мне исполнилось девять лет, русский язык учил дома. Никто за руку в школу меня не отводил, сам влез в галоши и пошел. Не постучался, не извинился – вошел в класс, сел на последнюю парту. Урок окончился, учитель объяснил мне правила приличия. В школе у меня был друг – сын учителя Леонид Кулевцов. В школе с 5-го класса преподавали немецкий. Читать по-латышски могу. А пишу без знаков долготы, в Латвии ни часа не учился. Случаются и курьезы. В Сибири между собой разговаривали по-латышски, там латышей было много.

Об отце узнали, когда готовили документы на землю в 90-е годы. Посоветовали обратиться в Верховный суд, но... Так как он не был осужден, по неофициальным сведениям, он находился в Кировских лагерях. К нам приходил министр земледелия Бирзниекс, он сидел вместе с отцом в лагере. В Верховном суде мне сказали, что прежде всего надо написать заявление, так как и у них существует бюрократия: если станет что-то известно, ответ придет через неделю. Если сведений не будет, придется ждать дольше. Через неделю получил письмо, из которого выпала фотография, на которой отец сфотографирован в профиль, на обороте надпись: 20 января 1942 года в 8:20 расстрелян за связь с заграницей. Судьи – трое из Кировской области: капитан Колбин, майор Пуфайкин и третий, чью фамилию не прочесть из-за плохого качества копии. Бирзниекс рассказывал, как тяжело им приходилось работать, пересылали их из одного лагеря в другой, чтобы не вздумали бунтовать. Охрана огромная, были заключенные самых разных национальностей. Отец дружил с евреем. Он совсем обессилел, и отец ему помогал. Это не понравилось. Отцу вечером велели собрать вещи. Он знал, что это не к добру, попрощался с друзьями, ночью там исчезали люди. Вероятно, поэтому охрана напивалась, когда шла на охоту за людьми...

Наш отец был айзсаргом. Вышинский сказал: «Спилишь столб, забор сам завалится». Отец был работящий, аккуратный. То ездил с огурцами в Айзпуте, то в Лиепаю с капустой. Радовался, когда я родился, - наследник. Сыну все разрешалось. Если отец читал газету, я мог ее порвать на мелкие клочочки, он ничего не скажет. Видно, предчувствовал, то понянчить меня не удастся. Отец окончил офицерское училище. Он понял, что происходит, когда началась национализация. Ходил черный. Семья хотела уехать в Швецию, но мать была категорически против - трое маленьких детей, языка не знает, родня тут, в Отаньке, в Нице, Гробиняс. Потом мать жалела. Без отца язык пришлось учить, так же было бы в Швеции, Канаде или Америке, но были бы все вместе. Но когда люди бежали, пароходы потопили. Кто знает, как было бы.

Латвия, когда вернулись, впечатление оставила плохое. В Сибири хороший климат, плодородная земля, дом, скотина. Ходили слухи, что будут менять деньги. Хотя сколько их было у нас... Приехали – жить негде, слякотная, противная осень. Странно было слышать латышскую речь. Улицы мощеные, голуби. Переехали границу, смотрим – один тянет лошадь за повод, второй на плуг налегает. Через месяц после приезда убирать урожай помогали родственникам. Год бедный был. Говорили: «Лучше бы в Сибири остались...»

Латвия. Кто-то говорит – счастливая страна. Для нас она такой не была.

Другие называют «страной дураков». Но жить надо. Когда пришла независимость, дома у меня было трое безработных, один я работал. Были и долги. За тепло, правда, платил исправно – «Лаума» нам каждый месяц приплачивала. За долги пришла бумага – переселять нас собрались в район Караосты. 43 года в Латвии проработал, ни минуты не пропустил, куча дипломов «Мастер – золотые руки», на Доске почета побывал! Писал об этом президенту, Гунтису Улманису. Ответили, чтобы становились на Биржу труда...

Будто мы там не были! Ответ пришел из Канцелярии президента – не беспокойте Президента, у него другие обязанности.



ДАЙНА РИКМАНЕ (ЯУНЗЕМА)

родилась в 1939 году

В 1940 году родители мои работали в Сеце, в волостном доме, где находилось помещение доктората, там же располагались айзсарги и волостное правление.

Им обоим было по 45 лет. Мать была врач, пользовала и жителей соседних волостей. Отец командовал батальоном айзсаргов. В юности он участвовал в боях с бермондтовцами, был неоднократно награжден. Окончил он коммерческое училище в Даугавпилсе. В 1940 году у отца отняли оружие и освободили от занимаемой должности. Он вернулся в унаследованное от отца хозяйство, в 11 километрах от волостного дома, а мама продолжала работать врачом. Она изучала медицину в Киеве, в 1919 году вернулась и завершила учебу в Латвийском университете.

Так как и мама, и отец были айзсаргами, в 1941 году нас включили в списки высылаемых. 14 июня прежде всего приехали в волостной дом за мамой и за мной. Отец был в деревне, и пока ездили за ним, мама, женщина практичная, пережившая Первую мировую войну, гражданскую войну, пожившая в Киеве, успела собрать вещи в 12 мешков – брала, все, что можно было взять.

В Даугавпилсе родителей разлучили. Мужчин отправили на Север, женщин – на Восток. Оказались мы в поселке Тупик Козульского района Красноярской области. Об отце ничего не знали. С собой у мамы были документы, а так как врача в селе

не было, она там работала врачом, в качестве вознаграждения получала за неделю хлеб. Через год у нас уже был козленок, выращивали овощи. Не знаю случая, чтобы в этом селе кто-то умер от голода. Было трудно, но латыши держались. Для детей даже устраивали праздни-

ки. На Рождество мне достался маленький туесок с медом. В пятилетнем возрасте вместе со всеми грузила в вагон деревянные чурочки – в то время паровозы, которые отправлялись на фронт, топили маленькими полешками. Заработала 200 граммов хлеба – из овсяной муки с мякиной.

После войны пошли слухи, что детей отправляют в Латвию. В шесть лет так хотелось увидеть Латвию – есть белый хлеб и яблоки, о чем я только слышала, никогда до этого не пробовала. До семи лет я вообще не знала, что такое мясо, что такое настоящий хлеб, мы ели хлеб из неочищенной овсяной муки.

В сентябре 1946 года, больная, я приехала в Ригу. Двоюродные сестры, с которыми у меня была разница в 30 лет, забрали меня к себе, но через некоторое время я попала в больницу – стали меня одолевать все подряд детские болезни: корь, скарлатина, воспаление серднего уха, воспаление легких. Сообщили об этом маме. Мама продала свою самую ценную вещь – микроскоп – и в 1947 году приехала. Через министерство в 1948 году она получила работу в Спаре, жили мы в помещении амбулатории. Чуть в стороне от поселка.

Осенью 1949 года я видела сон – белая, вся в цвету черемуха вокруг амбулатории. Рассказала маме, какой мне замечательный приснился сон, но она сказала, что нас ждут неприятности. Через пару недель пришли и маму увели. И я осталась одна. Но вокруг жили хороши люди, таких

детей разбирали. Меня взяла к себе учительница математики, и до октября 1950 года я жила в ее семье. Маму, за то что приехала незаконно, год продержали в Рижской Центральной тюрьме, и в 1950 году

В пятилетнем возрасте вместе со всеми грузила в вагон деревянные чурочки – в то время паровозы, которые отправлялись на фронт, топили маленькими полешками.

собирались снова вывезти в Сибирь. А поскольку я не была арестована, по большой протекции, которой в Министерстве внутренних дел добились мои двоюродные сестры, я тоже попала в Центральную тюрьму. Находилась в камере вместе с другими женщинами и детьми, там стояли огромные емкости для оправки, вода была хлорированная. В таких условиях нас продержали целый месяц. На прогулку выводили в сопровождении конвоя сначала два раза в день, потом один раз.

Мне было уже 11 лет. И отправились мы в Сибирь, но на сей раз по этапу; маленький зеленый вагон с крохотными купе, где людей разместили на всех трех полках, а на некоторых полках и по двое. В купе были подростки 14–15 лет. Они спали на самом верху, мы с мамой – на нижней полке. Конвоир попался нам очень симпатичный, сказал, что я очень похожа на его сестру. Пили кипяток, родственники снабдили нас кисло-сладким хлебом.

Первый раз остановились в Орле, где нас на «Черной Берте» перевезли в тюрьму. Следующий этап – Москва, потом на Волге два города, в общей сложности побывали в 11 российских тюрьмах. Странно, но этап везли не по прямой, а зигзагами. Оказались в Томске, потом в Новосибирске и, наконец, в Красноярске. Оттуда нас отправили в такое место, где не было латышей, а в 1949 году привезли сосланных литовцев. Это был Березовский район, село Маганское, в 50 километрах на восток от Красноярска. Там я пошла в 4-й класс, с третьей четверти. Весной половину экзаменов сдала на тройки, половину – на четверки. У меня была очень хорошая учительница русского языка, и на второй год я не осталась.

Маме предложили должность врача с зарплатой фельдшера в 12 километрах от Маганской школы, в глухой тайге, на берегу реки Базайки. Я продолжала учиться в Маганском, там и окончила семилетку. И теперь я могла продолжать учебу или в десятилетке, или в среднем учебном заведении, и я предпочла Красноярскую медицинскую школу, куда поступила в 1954 году. Помню, как рыдала вся школа, когда умер Сталин. Мне это не говорило ни о чем. Но была настолько разумной, что лицо свое от других прятала.

Я страшно любила путешествовать, и каждую субботу после школы пешком отправлялась за 12 километров к маме через тайгу. Жила я у двух

латышек – Доры Микельсоне и Анны Янсоне, чьи мужья были расстреляны еще в 1937 году. Они купили дом в селе, и приютили меня, так что мне не пришлось жить в интернате. Впоследствии они уехали в Латвию, в Валмиеру, к своим сестрам.

Когда я училась в медицинской школе, снимала квартиру у репрессированных, на сей раз у русских. От школы нас послали в колхоз на Байкале, в 100 километрах от железной дороги, жители никогда ее не видели. Летом собирала ягоды, была смородина, немного сахара, хлеб. На неделю мама мне давала пять рублей. В то время она зарабатывала 150 рублей. Этого было достаточно, чтобы покупать хлеб, что-то к нему, керосин, одежду.

В 1956 году начались изменения в политической жизни, но мы их оценили только, когда нам разрешили возвратиться домой. Мы «попутешествовали» с лихвой, в тюрьмах тоже насиделись, маме было уже за 60, и она сказала, что в Латвию не поедет. Я понимаю тех людей, которые не хотели возвращаться, – душевные силы их были растрачены. Но я все-таки уговорила маму вернуться. Продали козу и все нажитое и приехали в Ригу, где нас ждали мои двоюродные сестры, поселили в своей коммунальной квартире. Жила я там год.

Мама через министерство устроилась на работу в поселке Ислице Бауского района, обслуживала три больших колхоза. В свои 60 лет она занимала большие должности, выполняла огромную работу. В конце концов ей выделили небольшую квартиру в здании, где располагался сельсовет.

Я окончила школу и уехала работать в Бауску. Мама ушла на пенсию в 72 года. Я окончила медицинский институт в 1968 году, и жили мы теперь вместе.

Мама никогда не поминала недобрым словом причинивших нам зло. Она считала, что такое тогда было время, такая судьба. Паспорт мне выдали в Красноярске, когда мне было уже 17 лет, – номер серии в нем был «говорящий». Это было как «клеймо». На работу не могла устроиться ни после школы, ни после института. Считалась неблагонадежной.

Об отце знаю мало. Судя по номеру газеты «Литература ун Максла», вышедшему в 1989 году, можно предположить, что отец умер голодной смертью в апреле 1942 года.



ВАЛДИС РИМЕЙКС

родился в 1929 году

В 1941 году мне было 11 лет. В семье было пятеро детей. Отец, инженер-химик, был владельцем нынешней фабрики «Дзинтарс». Отец создал фабрику с нуля. Сам он участвовал в Освободительных боях, был членом корпорации «Талавия». Отца не видели с тех пор, как всех посадили в вагоны. Нас – маму с детьми – отдельно, отца отдельно. Вместе мы в дороге не провели ни дня.

Мы, дети, летом жили в Балтэзерсе. Приехал вооруженный солдат, два в кожаных пиджачках, по-моему, не латыши, но говорили по-латышски. Детям сказали: «Брать ничего не надо, в Риге вас ждут родители». Домработницы быстро нас собрали, жарко, лето. Мама была уже на станции Торнякалнс, в вагоне. Отца с тех пор больше никогда не видел. Сопровождающие, когда видели, что повезут в вагонах, доставили нам еще зимнюю одежду из дома. А потом до Канска в телячьем вагоне. В вагоне вначале не могли освоиться – деревянные нары, крохотные оконца. Самым ужасным в вагоне был, конечно, так называемый туалет. Справлять нужду надо было у всех на глазах – ни один нормальный человек не мог этого пережить.

В России на каком-то лугу выпустили и тут же загнали обратно. В дороге в нашем вагоне человека четыре умерли, грудные дети. Кормить кормили: приносили кирпичики хлеба, соленого, такого мы раньше и не видели. Один раз в неделю давали водянистый суп на станции и ведро воды на вагон каждый день. Хорошо, если хватало напиться.

Высадили в Канске, в городке, в бараки. За нами приехали из колхозов на лошадях, на быках. Отвезли нас в совхоз, в 100 километрах от Канска.

В одной комнатушке в бараке жило, вероятно, десять латышских

семей. Приближалась зима. Топлива не было. Достали бочку из-под бензина, водрузили посреди комнаты, топили – за дровами в лес ходили сами. Местные тоже дрова на зиму не заготавливали, кончаются – едут в лес. Снег выше метра. Возили на быках. Мама устроилась в контору счетоводом. Зимой ходили в школу, язык знали настолько, насколько успели выучить за лето. На ноги надеть было нечего, обматывали мешками. Какую-то одежду выменяли на ведро картошки.

Младшему было полтора года, сестре тринадцать лет, мне одиннадцать, Дите семь, Майе три года. Младший не выжил. Следующей весной отправили нас в Канск. Там нужны были рабочие на лесопилке. Зашли в барак, там неделю, прикрытая чем-то, лежала мертвая финка. Брат заболел дифтеритом, задохнулся.

Осенью повезли всех в Красноярск. Жили примерно неделю в порту, туда привезли огромное количество народа — финны, латыши, немцы, всех отправляли на Север, пока не закончилась навигация. Нам повезло, плыли на пассажирском пароходе, другие на барже, вообще света не видели. Через 10 дней высадили в селе на берегу Енисея. Одна улица вдоль берега, на ней домов 20 — называлось село Лебедево. Сказали: «Здесь будете жить всю оставшуюся жизнь». Приняла нас русская семья с четырьмя детьми — муж был на фронте. Так и жили — восемь детей в одной комнате. Там было только то, что выдавали в магазине, летом — гри-

бы, ягоды. Вечная мерзлота, как мы выдержали первую зиму, не знаю. Распухли, началась цинга. Заболела сестра, умерла на Рождество, не совсем, конечно, от голода. Старшая сестра умерла. Самое ужасное – не

Младшему было полтора года, сестре тринадцать лет, мне одиннадцать, Дите семь, Майе три года. Младший не выжил.

из чего было сделать гроб. Одна семья разрешила взять доски с их крыши. Два дня кайлом долбили землю, чтобы похоронить. Ужасно. Каждую неделю кто-то из латышей умирал. Замерзали, надеть было нечего. Одежды и у самих у них никакой не было – нечего было и выдать.

Весной, когда появилась крапива, начался праздник. Варили кашу – очень хорошая еда. Картошка считалась деликатесом, выдавали поштучно. Все мысли были только о еде. Делились рецептами. Пересказывали сны – подойдут пароходы, взломают на Енисее лед, абсурд, но люди верили. Там была естественная тюрьма – тайга и река во льдах. Сегодня село опустело, все окна заколочены. В то время было там всего две фамилии – Ясковы и Поповы, тоже спецпоселенцы, может быть, поэтому они и были людьми.

Наступило лето, мы поняли, что если там останемся, всем придет конец. Узнали, что повезут дрова, и три семьи – мы, Меднисы и еще одна – сели в лодку и стали ждать. Когда поняли, что пароход скоро отчалит, стали носить на пароход дрова, спрятались в поленницах, вещей никаких не было. Когда пароход отошел от берега, пришли к капитану. И тогда началось самое трагическое. Он сказал: «Я вас тотчас же должен передать в чека», мы же беглые. Жена у капитана была эстонка, она сказала – в Красноярск не езжайте, вас там сразу же схватят, выходите в Подтесово, там строят дамбу, там много заключенных, там вы спасетесь. В Подтесове было много латышей, строили дома. Заявили о себе коменданту, он нас записал. Шутки были плохи, можно было и тюрьму заработать. Жизнь здесь была легче – хлебная норма была нормальная, потом американские продукты появились. Кродерс, писатель, Крейцбергс, художник. Жили там до конца войны. И вот пришло известие, что в Красноярске собирают детей. Мы уехали в Красноярск, в детский дом. Собрали нас в вагон. В Риге привезли во 2-й детский дом в Пардаугаве. Наполовину легализовались.

Обратный путь показался нам замечательным – пассажирский вагон, спанье на двух полках, на третьей спал Фредис Крамерс, почти не спускался, чтобы не увидели, какой он «ребенок», ему было уже 19 лет. В пути была кормежка. В Москве выдали американскую одежду, в Ригу приехали как люди. В детском доме пробыли месяца два, потом уехали к родственникам.

Из семьи вернулись трое детей – две сестры и я. Жили у родственников на острове Долес, летом

пасли скот, за это давали продукты. Мама осталась в Сибири. Приехала где-то в 1949 году, договорилась с комендантом, работала кассиром, преподавала музыку. Приехала в Ригу, надо было доставать паспорт, кажется, за деньги. В Риге все время жила на полулегальном положении. У нас, у детей, у всех были нормальные паспорта.

В 1950 году все началось по новой.

Маму посадили в Рижскую тюрьму 30 мая. Мы уже были умные: не сравнить, как уехали в 1941 году и как уезжали сейчас. Знали, куда ехали. Все вещи с собой забрали. И посадили нас в тюрьму на улице Матиса вместе с ворами. В вагоны тоже вместе с уголовниками. В Москве люди идут мимо, удивляются — непонятно, как это детей арестовали. И из Москвы из одной тюрьмы в другую. В Куйбышеве тюрьма была современная, и кормили там хорошо. В восьми тюрьмах побывали, пока на место назначения не прибыли. Спрашивают: «Какая статья?» А статьи никакой, не судимые, ни одной бумажки, ничего. Они вначале никак не могли понять.

Красноярская тюрьма подавляет, старая, царская тюрьма. 120 человек в одном помещении. Кого угодно там можно было встретить: профессора, артиста, ученого.

Из Канска привезли нас туда же, куда и в первый раз, – в совхоз. Отправили в районный центр. Условия были уже не такие. Был Дом культуры. Актеры с «Мосфильма». Звукооператоры, художники. Были инструменты, но никто не умел играть. Я взял саксофон и стал играть. Артисты нужны всем правительствам.

Когда умер Сталин, мы уже окончили среднюю школу. Подали документы. «Ой, вы опоздали». Официально не отказали, но дальше учиться не дали. После смерти Сталина перебрались в Красноярск. Там можно было учиться. В Красноярском Институте леса училось человек пять латышей. Все удивлялись, почему это у латышей повышенная стипендия. А очень просто – все они по-настоящему хорошо учились. Когда умер Сталин, ссыльные впервые получили возможность переехать в город, учиться дальше. По вечерам посещал машиностроительный техникум, перешел в институт. Все время работал на заводе, делали комбайны. В 1955 году нам все-таки разрешили вернуться в Латвию. Мама приехала через четыре года – в 1959-м. Я одним из первых прибежал домой. Устроился работать на ВЭФ. Начальником бюро рационализации. Мне всю жизнь нравились кино и фотография. На ВЭФе



Мать Вилхелмине, отец Антонс

организовали любительскую киностудию, одну из первых в Союзе. Снимали технические фильмы. Наконец построили Дворец культуры, потом «Пентафлекс». Оттуда забрали меня в совхоз, создали студию технических фильмов. Потом перешли на киностудию.

Отсутствие матери ощущалось постоянно. Мама, маленькая женщина, окончила университет, была филологом. В тех условиях мы с самого детства были приучены к труду — заготавливать дрова, работать в огороде, ремонтировать. А как только стало возможно, отправляли нас в лес. У меня и фотографии есть: я на быках в лесу, снег по грудь, вывозим дрова. А когда хлеб появился, все казалось чепухой после страшного голода. Человек, вероятно, ко всему привыкает.

Эмоциональный голод пришел позднее? Всю жизнь на первом месте для меня была мама. Ей первой всегда звонил. Мама была для меня святой человек. Умерла она в 1994 году. У нас в семье никогда не было никаких ссор, разногласий. Сейчас, впрочем, тоже глобальных нет — мелкие неприятности, как у всех. Стоит только вспомнить, как было там, и улыбнешься: ну чего кипятимся? Там люди умирали один за другим, не успевали хоронить. Если все

это видел своими глазами, то сегодня нет никаких проблем. Пустяки.

Дети? Да, я отец-демократ. Терпеть не могу белоручек. Мы тоже строили дом 15 лет. Я могу только поблагодарить отца — никакой необходимости в то время в этом не было. Уезжая на работу, он говорил: «Покрась лодку, накопай червей!». Сестрам велел прополоть грядки. И нам даже в голову не приходило, что работу можно не сделать. Отец рос в трудных условиях, в семье батрака, где было девять детей. Работал, пока не окончил институт. Может быть, если бы в Сибири у нас была подходящая одежда, нам было бы легче. Стужа ледяная, есть нечего.

Одно только жаль – украли у нас 16 лет жизни. Были бы мы в Λ атвии эти 16 лет в нормальных условиях!

Да, если бы отец был жив, возможно, жизнь сложилась бы совсем по-другому. В 1939 году, когда немцы уезжали, можно было продать фабрику и уехать в Америку. Ему говорили: «Антон, уголь для русских добывать станешь». Отец сказал: «Я, латыш, никуда не поеду – ни на метр. Я никого не вешал, не расстреливал. Мне никто ничего не сделает». Был уверен. Если бы его не расстреляли, и нам было бы легче. Физически крепкий, познавший крестьянский труд, химик, в коммерческом училище преподавал. Приговор на одном листке, карандашная подпись, оригинальные документы.

Следующие поколения не должны забывать этот период истории. Сегодня висят флаги, а спросите у детей – никто ничего не знает. Не надо копить ненависть, но почему сегодня нельзя осудить ни одного чекиста? Хотелось бы, если кто-то еще жив, спросить: «Ты почему подписал эти документы?». Те, кто высылал, и сегодня живы. Латыши и сами приложили руку к нашей ссылке. Есть и свидетельства рабочих – другого такого демократичного предпринимателя нет.

В хрущевские времена все мы уже были люди честные, а за границу не пускали. Сделали фильм о проблемах леса в Латвии, в Аргентине наградили золотой медалью. А поехали из Москвы те, кто вообще ни слухом ни духом об этом фильме не знал. Оформляли документы в Швейцарию, приходит ответ: «У нас тут некоторые изменения, так и так». Говорю: «Лгать не надо. Биография не та, вот и не пускают». Это уже в 1985 году было.

Клеймо осталось на всю жизнь, первый отдел знал абсолютно все. Слава Богу, что еще живы и здоровы.



Слева: Майя, Валдис, мать Вилхелмине, отец Антонс, Астра, Рита (у коляски), Янис (в коляске). Латвия. 18 января 1940 года



ВИЯ РОЗЕ (ГАЛВЕНИЕЦЕ)

родилась в 1933 году

У меня был брат Вилнис Розе, папа Фрицис Розе, маму звали Лилия Розе. Жили в Смарде на хуторе «Розитес». Хозяйство было новое. Мы только-только начали там жить, и года не прошло. В большой комнате даже еще не настелили полы. Там пока жил арендатор, который присматривал за скотиной – было несколько лошадей, может быть, были и коровы. Папа сказал, что назвать меня надо Вия, фамилия Розе, вот и получится – гирлянда роз. Это мне мама рассказывала.

14 июня 1941 года нас разбудили ночью, стучали в окна и в двери. Подняли родителей. Потом и нас. Брат плакал, ему было всего три года. Приказали собраться. Сложили мы вещи, велели запрячь лошадь, посадили нас в повозку и повезли. Отец шел пешком.

Приехали на станцию Тукумс-2, посадили в вагоны. Назавтра тетушки узнали, где мы, приехали из Смарде. Просили оставить им хотя бы брата, им отказали, потому что брат был уже в вагоне. Мы ехали на верхних нарах. Были и еще семьи с детьми. Слушали, как стучат колеса. В полу была выпилена дыра, потом отгородили это место простынями, чтобы тебя не было видно. Когда первый раз выпустили оправиться, пришлось сидеть перед вагоном, у всех на виду. С едой было плохо. В России стали приносить кипяток. Мама снова заболела.

Привезли сначала в Красноярск. И нас с братом отвезли в детский дом. Поселили в одной комнате,

дали конфет, мы так наелись, что начался у нас понос. Держали несколько дней, потом подъехала повозка, мне велели одеваться, и отвезли меня в детский дом в Семеновке. Братик бежал за нами и кричал: «Сестричка, не уезжай!». С тех пор я его больше не видела. В дет-

ском доме, куда меня привезли, были дети разного возраста, были 18-летние. Поместили меня в большой комнате, где было 20 или 30 детей. Кровати стояли вплотную. На мне было вышитое мамой платьице с синими цветочками. И воспитательнице, и детям оно очень нравилось. Потом это платье пропало. Я заболела корью. На ночь окна закрывали одеялами, так мы спали.

Вначале мама была в Красноярской больнице, потом ее перевели в Ачинск, где она жила в какой-то русской семье. Когда она узнала, где я, приехала в Красноярск, но так как она была больна, из детского дома брать меня не стала. И брата не взяла. Я слышала, что брат заболел дифтерией и в 1942 году умер. Пусть Бог меня простит, но то, что мама не забрала брата из детского дома, я ей простить не могу. У меня сложилось такое впечатление, что она не хотела себя утруждать, она привыкла к легкой жизни – все время жила по санаториям.

В детском доме вши нас просто заедали. Всех постригли, выстирали одеяла, а они нападали еще яростнее. С едой – вначале было как было, потом стали давать щи. У меня было пальтишко – все было залито. Мама привезла, ложки, рукавички – все у меня украли. Привезла снова – и снова украли. Больше привозить она не стала. Был такой эпизод: во время послеобеденного сна одна девочка что-то усердно чиркала под одеялом. И я видела, и другие видели. Оказалось, это она чиркала портрет Сталина в моей азбуке. Все на меня – фашист, как можно, отца... По-

том кто-то сказал, что это сделала не я. И все принялись ее бить. Должны были меня бить. И еще эпизод: возле печки сушились валенки, и ночью кто-то в валенок сходил. И снова все на меня, к счастью, кто-то видел, что

На мне было
вышитое мамой
платьице с синими
цветочками. И
воспитательнице,
и детям оно очень
нравилось. Потом
это платье
пропало.

это была не я. И снова бросились того бить, кочергой, поленьями, всем чем. Все это мне предназначалось... Я там была одна латышка, «фашист», больше латышей не было.

Жилось там по-всякому. Был один маленький мальчик, который весь свой хлеб отдавал старшим. Когда он однажды отказался, его бросили в яму, сверху накидали веток, кустов. Когда через месяц его нашли, он уже весь высох.

Перевели нас в детский дом на месте бывшего пионерского лагеря. Там было красиво. Дом стоял на горе, вокруг кедры, у подножья – река Чулым. В лесу росла костяника, черемуха, мы все это ели. Были кедровые орехи, чеснок. В лесу росли тюльпаны. Условия здесь были намного лучше. Вручили детям портфели, красивые школьные портфели. Я даже сказала: я не заслужила такой красивый портфель. Дети вели себя здесь нормально, а дети служащих бегали следом за мной и кричали: «Латыш, куда летишь?..». Таким вот образом.

Потом закончилась война, стали присылать в детский дом одежду из-за границы. Мама узнала, что

детей отправляют в Латвию, списалась с крестной и с папиным братом, они сказали, что меня возьмут. И стали меня собирать — дали с собой полмешка хлеба, меда, всего чего, два платья, которые прислала мама, еще какую-то одежду. На лошади отвезли в Красноярск, где уже собирали детей.

Забрали еду, сказали, что положат на склад, чтобы не пропало. Одежду оставили. Детей было много, но я никого не знала, в детском доме я одна была латышка. Когда мы встали наутро, на складе наших продуктов не обнаружили...

Я приехала с первым эшелоном. Посадили нас в вагон, без еды. Ехали мы 10 дней. Проводницы иногда что-то приносили со станции, нас посылали за кипятком. Я спала на одной полке с девочкой, как оказалось потом, она была из Тукумса, еврейка, волосы у нее был длинные, вшей много, она и меня наградила.

Когда в Ригу приехали, день был пасмурный. А я, в честь того, что вернулась на Родину, надела красивое платье. Но нас повели в «вошебойку», одежду надо было оставить, когда вышли, мне дали большое фланелевое платье, я так горевала о своем красивом



Отец Фрицис, мать Лилия, Вилнис и Вия. Латвия

платье, которое пришлось выбросить. В детском доме на 10 дней был объявлен карантин.

Кормили хорошо. Разыскали моих родных, и через 10 дней за мной приехали. Отвезли в Кемери, где я прожила год у крестной. У нее у самой было трое детей, и своей они меня не считали. Я по-латышски знала только «спасибо» да «пожалуйста». Как-то крестная мыла ноги и попросила подать ей мыло, а я бросилась мыть ей ноги. Она только посмеялась.

Дядя работал электриком и часто выпивал. Придет, давай своим раздавать деньги – кому три рубля, кому пять, а я тут же стою, и так мне обидно!

Папина мама была еще жива, она все говорила: «Где-то мой Фрицис!». А потом увидела сон, что его расстреляли. Как-то зашел один, кто когда-то знал отца, бабушка ему и скажи: «Фрицис умер», а тот воскликнул: «Вот и хорошо, он же был полицейский!».

Когда нас выслали, он полицейским уже не был. Но пьяниц не терпел, а этот, видно, был из таких...

Год я училась в Кемерской школе, потом мама написала, чтобы я шла жить к ее брату. Там я выпол-

няла все обязанности работницы, ходила в постолах – как все пастухи. Была у них батрачкой. Училась в Смардской школе, в 4-м классе.

Потом приехала мама, самовольно. Она сняла в Тукумсе, на улице Талсу комнатку, взяла меня к себе. Прислали извещение, что папа умер в 1942 году, как и братишка. В Тукумсе пошла в 5-й класс.

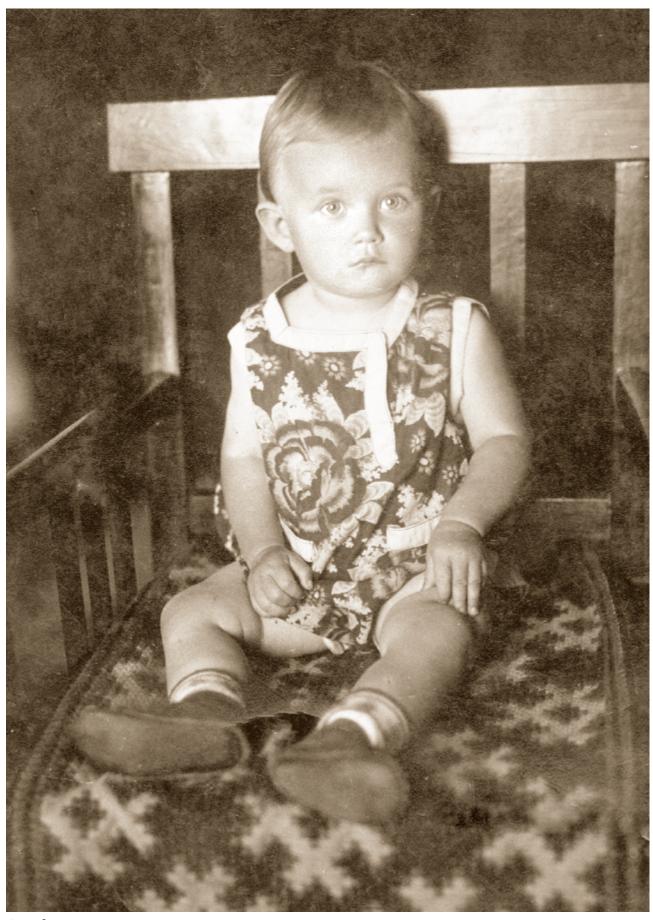
Пару лет маму никто не тревожил. А потом началось все сначала: маму посадили в Тукумскую тюрьму. Прихожу домой – все разбросано, перевернуто, мамы нет. Хозяйка сказала, что маму арестовали. Я должна была отнести ей клубочки шерсти, но я не знала, что в них хранятся золотые монеты. Через пару дней маму перевели в Шкиротавскую тюрьму и продержали там две недели. Я к ней приезжала. Оттуда ее отправили в Парогре. Я сложила в фанерные чемоданы вещи, которые она привезла из Сибири, и повезла ей, потому что сказали, что ее скоро отправят. Отправили маму на сей раз в Омскую область, в небольшой городок Абан.

Мама окончательно вернулась в 1955 году.

Воспоминаний много, и они тяжелые. Русские, которые там жили, ни в чем не были виноваты.



В Сибири



Вия в детстве



АЙНА РОЗЕНА (ЭРГЛЕ)

родилась в 1937 году

Я родилась 8 февраля 1937 года в Иньциеме Турайдского уезда – в доме «Дзирнькални».

В свое время бабушке выделили землю, так как ее сын погиб на Первой мировой войне. Мой отец родился 28 октября в 1908 года в Ледургской волости. Летом сплавлял плоты, зимой на молотилке обмолачивал хозяевам хлеб. Вступил в организацию айзсаргов. Мама хозяйничала по дому. У нас было шесть дойных коров, овцы, свиньи. В семье было пятеро детей. Перед ссылкой умерли младший братишка и дедушка.

13 июня 1941 года отец уехал в Сигулду оформлять налоги, и его друг Викторс Прандс, тоже айзсарг, предупредил, что будут высылать и брать айзсаргов. И отец уехал в Ригу к сестре.

14 июня в три часа ночи к дому подъехала грузовая машина с шестью вооруженными людьми. Это были молодые латышские парни: соседи Янка Вейиньш, Калниньш и какой-то русский парень. Первое, что они спросили – где отец? Мама сказала, что уехал в Сигулду и еще не вернулся. Но ей не поверили, обшарили весь дом. Мама пошла в хлев, но солдаты двинулись за ней следом, один все тыкал в спину винтовкой, чтобы сказала, где прячется муж. К бабушке подошел русский парень – она понимала по-русски – и сказал: «Я не знаю, куда вас пошлют, но возьмите как можно больше теплой одежды, там будет очень холодно...». Маме было 29 лет. Она носилась по комнате, не знала,

что делать. Мы тоже плакали. Старшему брату было девять лет, сестре – восемь, Валдиньшу – три. Потом этот русский солдатик сорвал с кровати одеяло, схватил еще одеяла и стал скидывать на них все, что было в шкафу, связал узел и забросил его в машину. В кладовой

лежал только что испеченный хлеб, соленое сало, все это он положил в большой мешок. А латыши только шныряли вокруг да вынюхивали.

Запихнули нас в машину и повезли в Сигулду. В хлеву остались мычащие коровы, во дворе паслись две лошади... До самой Турайды бежала за нами собачонка, которая домой так не вернулась. Когда нас вывозили со двора, бабушка стукнула кулаком по кулаку и произнесла: «Я сюда уже не вернусь, но дети мои и внуки вернуться, с места мне не сойти!». В Сигулде посадили нас в телячьи вагоны. Увидев нас, полуголых, женщины в вагоне запричитали: «Боже мой, а дети эти в чем провинились, что их с голыми попками привели?». Стариков, которым было за 70, всех высадили и отправили домой. А бабушку не отпустили. Сказали, что она и есть главная виновница, потому что сын ее с коммунистами-подпольщиками воевал... Люди стали бросать из вагона записки. Их подбирали, относили близким. Два парня попытались бежать – одного застрелили, второму повезло. Мужчин и парней постарше посадили в отдельный вагон. Никто так и не узнал, где вагоны с мужчинами отцепили от нашего эшелона. Через Латвию везли быстро. Где-то в России остановились – выпустили по своим делам. И повезли дальше. Еды не давали, только вносили воду. Ели то, что взяли с собой из дома.

Высадили нас сначала в Казачинске – в Красноярской области. Латышей было много. Помню события, лиц не помню. Мне было четыре года.

Женщины ходили гнать смолу, старики и дети сидели дома. Спали все в одном большом помещении на полу, ступить было негде, спали на вещах. Пока бабушка была жива, за нами присматривала.

Мама рассказывала, как однажды старший брат встал и пошел к дверям. Мама спросила: «Ты куда, сынок?». — «Домой. Я хочу к себе домой...»

За забором паслись быки и коровы, и старший брат дразнил быков длинной палкой. Однажды до того разозлил быка, что тот опрокинул забор, и мы припустили со всех ног и спрятались в какой-то яме, чтобы не забодал. Никто так и не узнал, кто был виноват.

Потом братья заболели скарлатиной, и их увезли в больницу, в Томск. За ними заболели и мы с сестрой. Помню, как мама переходила от одной кровати к другой и плакала, покормить ей нас было нечем. Мама стала менять кольца и вещи на продукты. Братья болели тяжело. Мама рассказывала, как однажды старший брат встал и пошел к дверям. Мама спросила: «Ты куда, сынок?». – «Домой. Я хочу к себе домой...». Сказал и упал без сознания. Мама взяла его на руки, и у нее на руках он умер. А на следующее утро умер и младший брат. Досок на гробы не было. И Целминьш достал где-то ящик... Меня завернули в одеяло, Целминьш взял меня на руки, вынес на улицу: «Смотри, Айна, это твои братики, больше ты их никогда не увидишь...». И укрыл их маминой фатой...

В августе 1942 года нас долго везли на лошадях. Мама говорила, чуть ли не неделю. Начались дожди, дороги превратились в сплошное месиво. На повозке сидеть могли только дети, взрослые шли рядом. На маме были папины форменные брюки, его сапоги. Она выдержала.

Примерно через месяц оказались в Усть-Хантайке, где провели зиму. Мама, кажется, работала в больнице, но потом у нее начало барахлить сердце, и она три месяца провела на больничной койке. Сестренку забрала к себе семья Янкович. Сама она была врач, у нее был сын Викторс и приемная дочь Гайда.

А я осталась одна. Лежала, не было ни еды, ни воды. Потом мне рассказывали, что мама, сколько могла, присылала с тетушкой Элзой, которая работала в той же больнице, от своей больничной порции. Но тетушка Элза Страздиня из Лиепаи делила это между мной и своей дочкой. У меня свело ноги, стали выпадать зубы... Началась цинга.

Когда мама, наконец, вышла из больницы, я выглядела ужасно. Приютила нас доктор Янковича, сказала, что весной надо выводить меня на солнце, тогда ножки выправятся. Мама из лесу приносила хвою, я пила отвар. Доктор Янковича массировала ноги, и я смогла ходить.

В Хантайке умерла бабушка – она ничего не ела. Детям давали 100 граммов хлеба, взрослым – 200, а старикам не давали ни крошки. Умерла бабушка от голода.

В Хантайке жили в землянках. Но было тепло. Я спала между мамой и бабушкой. Однажды бабушка попросила у мамы сердечных капель и корочку хлеба. А утром умерла – в одной руке были сердечные капли, в другой – корочка хлеба. Похоронили ее на местном кладбище. Был там холмик с кривой березкой – под нею и похоронили.

Из Усть-Хантайки на барже нас переправили в Дудинку. Плыли недели две, но три семьи – Вилсонс, Страздиныш и нас – отправили еще дальше по Енисею – в совхоз «Таймырец». Было это в октябре, перед самым концом навигации.

Женщины с маленькими детьми оказались на пустынном берегу – под открытым небом. Росли там карликовые деревца и елки чуть побольше. Пригнали баржи с досками, и женщины с детьми принялись строить длинный барак с нарами в три этажа. В каждом конце стояла чугунка. К бараку пристроили навес для лошадей, они нас тоже обогревали. Лошадям привозили овес, мы его воровали, жарили на печурках и грызли, как семечки.

Жили мы в зоне вечной мерзлоты, летом земля оттаивала только на 25 сантиметров. Но сама земля была жирная. Мастерили горшочки, насыпали торф, проращивали семена. Научились в теплице выращивать огурцы, томаты, в поле выращивали картошку и капусту.

Мама работала в теплицах – выращивала рассаду. Была она тихая, покладистая, никогда не возражала. Работа у нее была не трудная, в тепле. Тайком она и нас подкармливала огурцами и томатами. Капусту выращивали в поле, и кочаны вырастали такими, что одному человеку было не поднять. Капусту квасили в бочках и отправляли в армию. Летом женщины ловили рыбу с лодок. И не дай Бог хоть одну рыбку домой принести – за это сажали в тюрьму!

Зимой еды совсем не было. Хлеб привозили из Дудинки – кирпичики, в муку добавляли опилки. Буханки распиливали пилой и каждому взвешивали его норму. Весной мы, дети, ходили и, как коровы, ели траву, любую зелень.

На берегу, где принимали рыбу, собирали чешуйки, полоскали, сушили, добавляли в лепешки. Не выпускали изо рта куски соли, которой там было хоть завались, пили воду и ходили с раздутыми животами. Летом рос там и рабарбар, ревень, как его там называли, толщиной с руку, собирали щавель,

грибы и ягоды, сибирский лук, мясистый, большой. Рабарбар возили в город продавать. На карточки отоваривали только хлеб, остальные карточки продавали, чтобы купить продукты.

Не помню, в каком году у мамы случился инфаркт, и она снова три месяца провела в больнице. Мы с сестрой остались одни. Перебивались людской добротой. Самой отзывчивой была тетушка Милда, у сына был поврежден позвоночник, дочка умерла. Когда мама вернулась из больницы, мы превратились в рассадник вшей. Мама привела нас в порядок, вычистила, вымыла. Но выполнять тяжелую работу уже не могла. Снова заболела, снова оказалась в больнице. Не помню, сколько мне было тогда лет. Нащипала луку, нарвала щавеля, рабарбара, села в лодку и на веслах добралась за 15 километров до города – продать зелень и купить хотя бы хлеба. Поступила опрометчиво – в колхозе не знали, что я уехала в город, искали меня, были в шоке. Но я счастливо добралась, побывала у мамы, но ночью она меня обратно не отпустила, я сидела на улице, мама в палате у окна, и всю ночь мы разговаривали.

В больнице работала госпожа Зандовска, зубной врач, и госпожа Викмане, терапевт. Утром они увидели, что мама сидит у окна и разговаривает, спросили – что это за девочка, мама ответила – моя дочь, приехала на рынок лук продавать, а вечером я ее не отпустила. Узнав, что я просидела под окном всю ночь, обещали меня куда-нибудь пристроить. «Остались от тебя одни глаза», – сказала мама.

В Дудинке был и свой Шанхай – так называли первые домики, построенные в местечке, вокруг которых и вырос потом город. Когда-то там была и церковь, но однажды весь город во время ледохода смыло. Остался только Шанхай – крохотные домики. Меня устроили в одну очень славную русскую семью. Он был летчик, она работала в кассе в аэропорту. У них был мальчик двух с половиной лет, которого я нянчила. Сама я готовила еду, вместе с ним питалась. Соседи научили меня, что и как делать, продукты оставляли. Летчики получали хороший набор продуктов, так что еды хватало. Но тут сломался самолет, и он вынужден был оставаться дома.

Сестру еще раньше устроили нянькой в город. Однажды мама вернулась из города вся в слезах. Я тогда ничего не понимала, чувствовала только, что с сестрой что-то случилось. Оказалось, хозяин, у которого она работала, ее изнасиловал... Жена его

была судья, и мужа за это преступление наказали очень сурово.

Как-то вечером я уложила мальчика спать, и меня позвал хозяин. Подошла. Он повел себя очень странно, я почувствовала что-то неладное и со слезами убежала к маме в больницу, сказала – туда больше не вернусь.

Нашли мне другое место, домработницы. Я делала все, и белье стирала. Было трудно. Потом в Дудинке мне попался неприятный хозяин. Он был ветврач, она учительница. У них был пятилетний сын, но есть вместе с ним не разрешалось. Мне в кухню выносили то, что оставалось после них. Спала на ящике из-под картофеля, в который были напиханы какие-то тряпки. Ночью я должна была вставать к ребенку, а днем переделать все дела.

До этого я один год ходила в школу, но учительницу уволили за пьянку, и на этом учеба окончилась. Поэтому я обрадовалась, что моя хозяйка учительница, она обещала меня учить. Но обещания своего не выполняла, только смотрела на меня подозрительно. Когда стелила постель, обязательно находила на полу или на постели копейки, всегда отдавала их хозяйке.

Как-то маме из Латвии прислали пряжу, и она моему подопечному связала рукавички и носочки. Хозяйка обещала заплатить, но и тут обещания своего не выполнила. Позже, когда я уже работала в немецкой семье, где мне жилось очень хорошо, я встретила этого мальчика и отняла у него и рукавички, и носки. Мать его меня поймала на улице, но люди ее остановили. Об этом случае я рассказала своей хозяйке, и она поговорила с учительницей, после чего меня больше не трогали.

До 14 лет была домработницей. Ходила в школу, после уроков шла подрабатывать, чтобы заработать на еду.

Мама служила в домработницах у Валентины Хосиной. Та рассказала, что районному продкомбинату требуются работники. На комбинате держали коров, свиней, кур и лошадей. Мама пошла доить коров, и мы уже могли купить себе кое-что из одежды. Мама на комбинате проработала долго.

Когда после войны можно было из ссылки отправлять детей на Родину, мы были уже далеко – в совхозе «Таймырец». Какая поездка в такую даль и в такую стужу! Зимой обычно свирепствовала «черная пурга», которая могла продолжаться неделями. На улицу в это время лучше было не показываться. А если и выходили, то шли по веревке, чтобы не

заблудиться. Если на улице был мороз 45 градусов, все радовались: «Как сегодня тепло!». Потому что бывало и минус 50, и 70, и даже минус 75. Ни в школу тогда не ходили, и не работали.

Мама познакомилась с человеком, который побывал в плену, а потом оказался в тюрьме. После освобождения он работал завхозом на том же комбинате, где и мама. Тогда появился закон: если выходила замуж за русского, можно было возвращаться домой. Мама долго сомневалась, а потом решилась. Поклонников у нее было хоть отбавляй – и летчик был, который и сам устроился на хорошее место и получал северную надбавку, и маму устроил. Жизнь налаживалась. Маме дали подписать бумагу, что приехала она добровольно и согласна 25 лет не возвращаться на Родину. Тогда ведь думали, что никто никогда не вернется.

Но умер Сталин, умер Берия. Изменились законы, и, начиная с 1953 года, людей стали отпускать. Но наша очередь наступила очень поздно. Не знаю, почему.

Потом мы все разузнали о судьбе отца. Оказалось, что он только на второй или третий день узнал, что семью выслали. Пришел в чека и сказал: «Я виноват, берите меня, но отпустите семью с маленькими детьми – они ни в чем не виноваты!»

Когда отца в чека допрашивали, все пытались переманить его на свою сторону. Но он отказался: «Я за Родину жизнь отдам, но с коммунистами дела иметь не хочу». Отца арестовали и отправили в Норильскую тюрьму. К сожалению, мы этого не знали, как и он не знал, что мы в Дудинке. Нас разделяли всего 80 километров. 7 сентября 1942 года его расстреляли.

Викторс Прандс был с отцом в тюрьме. Он выжил. Вернулся в Латвию, забрал семью и вернулся на Север.

Мы приехали домой в 1957 году, 15 августа. Постановление о нашем освобождении появилось 5 марта, но мы остались, чтобы заработать денег на дорогу. И в день маминых именин приехали в Латвию.



Айна - первая справа во втором ряду. Дудинка, Сибирь, 1956 год



СКАЙДРИТЕ РОЗЕНА (КАНИШАУСКА)

родилась в 1934 году

Мама была крестьянка, все сама делала, и землю обрабатывала. Отец перегонял плоты, был айзсаргом — его никогда не было дома. Приезжал, давал маме сколько-то денег. Нас было четверо у родителей — Улдису девять лет, мне шесть, сестре четыре, Валдису три года. Была еще бабушка. Мама нас воспитывала, бабушка за нами присматривала.

Так мы жили до ночи 1941 года, когда вдруг приехала грузовая машина, в дом вошли солдаты с винтовками, разбудили маму. Было четыре часа утра. Подняли и нас, мы ничего не понимали, давай плакать. Мама сказала – как я могу при вас одеваться? Выйдите! Со штыками были два русских солдата, наш чекист Петерсонс стоял еще с двумя снаружи. Мама понять ничего не могла, плачет, кричит – за что, почему? Сыновья бабушки погибли на войне, она немного знала русский язык. Мама не понимала – что брать, что не брать. Подбежала к комоду, вытащила все документы, даже домовую книгу, фотографию, обручальные кольца – все взяла. Русские солдаты расстелили одеяло, велели бабушке сложить одежду, принялись завязывать узлы. Мама удивилась – зачем, мы же едем ненадолго. Но русские солдатики сказали, чтобы брали все. Была забита свинья, мясо засаливалось в бочке. Солдатики затолкали это мясо в мешок, где раньше лежало зерно. «Берите, все пригодится». И хлеб запихали в мешок, отнесли все в машину. Мама хотела по-

прощаться с лошадью Силвой, которую мы сами вырастили, так Петерсонс побежал следом в хлев. Мама со скотинкой попрощалась. Когда уезжали, собака на горке выла вслед.

Привезли в Сигулду, там уже эшелон стоял, а людей все подвозили и

подвозили. Натолкали в вагон до последнего. Мама просила, чтобы бабушку отпустили домой, старая она, но – нет. Она во всем и виновата. В вагоне было народу столько, что можно было только сидеть. Мы сидели возле «туалета», на мешках. В дороге маленькие дети умерли. Из Сигулды привезли в Ригу, прицепили еще вагоны. Из Риги через границу. Целыми днями в вагонах торчали. Приносили «кирпичи», мокрые, с половой. У детей начался от него понос. Делились, если у кого что было из дому. Приносили кипяток.

За Уралом расформировали. Поселили в доме вместе с Милдой Вилсоне, Элзой Страздинь, Мирдзой Роне, были и дети. Здоровых послали на лесопилку, пилили чурки для паровозных топок. Потом убирали зерновые, дети колоски подбирали, зерно варили и ели. Осенью выкопали брюкву, и мы, дети, по ночам ходили ее воровать. Если у кого-то найдут колосок, сразу наказание.

Осенью заболели. Отвезли нас в больницу. У брата был дифтерит, и он задохнулся. Улдис умер у мамы на руках. Спасти нельзя было, никаких лекарств. Сестра спала с ним рядом, я в ногах. Отнесли Улдиса в морг. А Валдиса отравили какими-то уколами. Мама от его кровати не отходила, сидела рядом, задремала, а когда глаза открыла, Валдис уже был мертв. Оба в одну ночь умерли – два трупика сразу. Мама кричала, рвала на себе волосы. Сообщили в колхоз, чтобы помогли похоронить детей. Приехал Элмис, привез доски и мамину фату с мир-

товым веночком – сделали из него крестики, положили детям в руки. И покрыли фатой. Нас с Айной на руках вынесли из палаты – проститься. Возле церкви находилось русское кладбище, там и похоронили.

Там были финны, немцы, латыши – кого только не привезли. Землянки обложили мхом, внутри сложили из камней плиту.

Нас отвезли в колхоз, мы совсем отощали. Мама меняла вещи на молоко, на ломтик хлеба.

Больница была в Ачинске. В тайге добывали смолу. Были там и кедровые орехи, ели черемшу.

Зимой отвезли нас в Красноярск, на станцию. Лошади еле тащились. Запихнули в какое-то помещение. Ждали, пока ледоход не начнется. Потом погрузили в баржу и привезли в Хантайку. Это была уже осень, высадили на берег. Стояли два строения – магазин и пекарня. Там была и Янковича, докторша, с сыном и дочкой. Стали строить землянки. Там были финны, немцы, латыши – кого только не привезли. Землянки обложили мхом, внутри сложили из камней плиту.

Женщины с утра до вечера должны были вытаскивать из Енисея бревна. Бабушке хлеба не давали, мамина норма 400 граммов, нам давали 200 граммов. Докторша забрала меня к себе. Сделалась я шустрая, щеки округлились. Меня кормили, а хлеб доставался маме. Меня потихоньку и в пекарне подкармливали - я русским нравилась, была смешливая, веселая. В Хантайке многие умерли. У госпожи Вилсоне дочь и сын. И у Роне умерли дочь и сын, осталась одна девочка. Как поднимались утром, так по пять-десять трупов из землянок выносили. Земля промерзшая, трупы в снег складывали. Весной хоронили. Люди от голода умирали. Финны своих маленьких детей съедали, ловили и ели крыс. Рыбьи кости перемалывали, муку эту ели. Умерла бабушка, умер Элмис.

Весной погрузили в баржи и отвезли в совхоз «Таймырец» – в 18 километрах от Дудинки. Было это снова осенью, и снова нас высадили на безлюдный заснеженный берег. Была Вилсоне с дочкой, Страздиня с дочкой и мама с нами. Остальные были немцы и финны. Утром проснулись – палатку снегом замело. Председателем совхоза был такой Полежаев, детей у него не было. Поселили нас в какое-то помещение на нары. Крыша дырявая. Потом нас, латышей, перевели в другое помещение. Русские латышей уважали, немцев и финнов – нет. Вначале жили в длинном бараке, с одного конца был хлев для лошадей и коров.

У меня были густые длинные волосы. Мама за ними ухаживала. В бараке стояли две бочки, это были печки. А потом одолели нас вши. С верхних нар просто сыпались на нас. Было нам тогда – мне девять и Айне семь лет. Мама заболела. У нас были карточки – полкило яичного порошка, сухое молоко, масло, крупа, все это детям. Взрослые получали



Сестра Айна в Сибири

700 граммов хлеба, дети — 400. Консервы присылали из-за границы. Мама продала наши карточки, покупала хлеб и крупу. Был тюлений жир. У мамы началась цинга. Отвезли ее в Дудинку, в больницу, где она пролежала полгода, мы с сестрой остались одни. За водой ходили в прорубь на Енисее. Завшивели, покрылись коростой. Маме стало лучше. Немки ходили в Дудинку побираться, зашли к маме, она прислала нам хлеба. В Дудинке было много врачей латышек: Янковича, Колиса, врач ухо-горла-носа, Озолиня. Они маму из больницы не выпускали. К нам приехала медицинская комиссия, все онемели, быстро избавили нас от вшей, остригли.

Весной из больницы вернулась мама. У Полежаевых была корова – мама стала ее доить. Нам, латышам, выделили маленькую комнатушку, можно было поставить три койки. Мама тихая была, никому не перечила. Работала хорошо, ее уважали. Пошла в хлев дояркой, и телят кормила.

У нас была самодельная мельничка, перетирали овес. Мама варила телятам кашу на молоке и нас подкармливала. Стали мы поправляться – сестра была похожа на скелет с вздутым животом. Полежаева звала меня Ритой и нет-нет подкинет чего-нибудь. Выросла картошка, но водянистая. Выросла редиска, капуста. В теплицах выращивали томаты и огурцы, мама и там работала.

Наконец разрешили переписываться, и нам из Латвии пришел первый денежный перевод – тетя Лилия прислала 200 рублей. Потом нас перевели в Дудинку.

Сестра училась в совхозе, я помогала маме, вязали сети, в месяц одни сети, заработала 200 рублей. Одеваться тоже надо было и мама из мешков из-под сахара мастерила обувку, и одежду тоже шила.

Когда в 1946 году детей стали увозить в Латвию, мы жили в совхозе. В списках мы были, ждали пароход, но был шторм, волны высотой девять метров, и за нами не приехали, пароход отплыл из Дудинки без нас.

Янковича забрала меня в Дудинку, устроила нянькой к русским, было мне 12 лет. Перетащили и маму в Дудинку, но жилья не было. Мама вышла замуж, одна со всем, что на нее свалилось, справиться не могла.

Об отце ничего не знали, расстреляли его в 1942 году. Мама вышла замуж, когда узнала об этом. Из Норильска выпустили политических, они и рассказали. Отец оставил записку – кто останется жив, пусть сообщит жене и детям. Когда из Норильска шел поезд, маме передали эту записку – что отца расстреляли. И тогда мама согласилась выйти замуж. Выдали

паспорта, можно было возвращаться домой. Мама заключила договор на три года, платили северную надбавку, можно было хорошо заработать.

Я приехала годом позже. Работала на железной дороге, весной привозили продукты, зимой их надо было освобождать от снега. Вывозила на быках из ледяного погреба старые запасы мяса сжигать. Была водовозом на железной дороге. Когда мне исполнилось 18 лет, окончила курсы крановщиков, работала на судах, на погрузке-выгрузке.

Сестра училась, потом вместе с мамой вернулась в Латвию. Когда мама вышла замуж за русского, он сказал, что младшую дочь будет воспитывать, а старшая пусть идет куда хочет. Так меня и мотало по жизни, жилья не было. Зимой жила под трубами центрального отопления, летом построила из жердей будку. Потом сняла угол у русской женщины. Мама уехала, меня с собой не взяла. Пришлось зарабатывать деньги на дорогу. Сестра позвонила мне, переполошила, я все бросила и приехала в Латвию.



Скайдрите с собакой

ЗАЙГА РОЗЕНВАЛДЕ (АНИСИМОВА)

родилась в 1936 году

14 июня 1941 года нас из Латвии выслали. Сейчас живу в Сибири... Помню, что в Латвии у нас было хозяйство.

В юности вам мешало, что вы не смогли учиться? Да, я без разрешения поехала, поступила. Пыталась поступить. Когда сдала все экзамены и начинались уже занятия, меня взяли и привезли домой. Я поступала в Уяре – это был ближайший районный центр. Был там какой-то агрономический техникум. Я сдала экзамены, поступила, хотела учиться. Хотела стать агрономом.

Сейчас работаете агрономом? Сейчас я выращиваю овощи. В своем огороде. Работала в школе лаборанткой, бухгалтером, иногда замещала учителей, когда кто-нибудь болел, но я не педагог. А потом учеников стало меньше, и должность моя была уже не нужна. Пошла работать в совхоз, на сенной комплекс, заведующей складом. Выдаю корма, мясо, спецодежду.

Вы пытались вернуть свою собственность? Мне прислали справку, что я имею право вернуться в наше село в Латвию. Там были ветеринарные врачи – муж и жена, написали нам письмо – если вы не хотите возвращаться, мы поселимся в вашем доме, будем вести хозяйство. Мы между собой переговорили, возраст наш тоже уже почтенный, и бросать то, что здесь начато...

Здесь все бросишь, а там начинай сначала. Написали, чтобы забирали дом, живите, работайте.

Дом развалился. Сын ездил, смотрел. Выплатили нам 750 долларов,

компенсацию – за дом, за землю... Старший сын был, походил, посмотрел, в результате наш родственник все устроил.

Если бы здесь была воскресная школа, где дети смогли учить латышский язык, вы бы отправили своих внуков? Это был бы их выбор. Внук осенью пойдет в школу. Родители живут в Красноярске, это был их выбор, на иностранные языки – с 1-го класса изучал иностранные языки. Английский язык, немецкий.

Вам хочется поговорить о прошлом или вы считаете, что все это уже история? Я считаю, что это история. Да и годы уже не те, чтобы учиться... кто знает, сколько еще осталось пожить... И здоровье уже не то... Мне 64 года.

Читаете книги? Читаю, в основном детективы. Беру в библиотеке, купить не могу, дорого. Читаю ту литературу, которая доступна. Библиотеки тоже не пополняются.

Расскажите, как менялось ваше имя? Когда надо было идти к детям... Чтобы детям легче было произносить, назвали меня Зоей Филипповной. Отчество дали по отцу мужа.

А почему не по имени вашего отца? Трудно выговорить, на русском языке получается чуть не ругательное слово...

А каково ваше настоящее имя? Зайга Розенвалде, по отцу Хербертовна. Сейчас я Зайга Хербертовна Анисимова, и в паспорте так написано. А на улице меня зовут Зоей.

Латышский язык забыла...

Здесь все бросишь, а там начинай сначала. Написали, чтобы забирали дом, живите, работайте.



РАФАЭЛЬ РОЗЕНТАЛЬ

родился в 1937 году

Я родился в Риге, сейчас являюсь заведующим Центром трансплантации больницы им. Страдиньша.

Хочу начать с главного. Если бы не депортация, то и моих родителей, и меня уничтожили бы здесь фашисты. Здесь остались обе мои бабушки, оба дедушки, осталась довольно большая семья.

Помню, как 14 июня ранним утром по квартире расхаживали какие-то люди, отец разговаривал с ними на повышенных тонах, довольно громко, мама в это время собирала чемоданы, вещи эти впоследствии нам очень пригодились.

Помню, что отвезли нас на станцию Шкиротава, мужчин сразу увели, женщины страшно плакали. Помню, когда нас везли, на станциях был кипяток, мы должны были бежать за ним, между вагонами стояли солдаты, следили.

Привезли нас в Новосибирск, там мама встретила бывших рижских актеров, которые служили в Ленинградском театре: Жихареву и из Русской драмы. Оттуда пароходом нас привезли в Нарым. Стоял трехметровый памятник Сталина, был сельсовет, назывался «Шпалозавод». Жили в комнате у хозяйки, мама работала в «Леспромхозе», заготавливала дрова. Помню, как я закричал, когда впервые увидел кошку, никогда раньше кошку не видел. Помню, что мама все время кормила меня кашей. У мамы были вещи, она их меняла, и у нас всегда было масло, его она добавляла в кашу. Со мной ничего плохого не произошло.

Была одна дама из Риги, которая считалась маминой подругой, Лиене Лифшиц, у нее в Латвии был завод. Отец один год был председателем студенческой сионистской организации. Там происходила ротация. Маме

принадлежал частный детский сад, это считалась частная предпринимательская деятельность. Я прочитал бумагу, которая называется «донос», там говорится, что отец буржуазный националист. И постановление: выслать. Его отправили в Соликамск, а нас на «Шпалозавод».

Отец был присяжный адвокат, умный человек, его ждала блестящая карьера. Когда его выслали, было ему 34 года, только-только начиналась жизнь, открыл свою частную практику. В Соликамске он пробыл год, потом его отправили на спецпоселение. До этого он встретил какую-то рижанку, она ему рассказала, где находимся мы. И отец написал нам письмо. Отец писал стихи, помню, как мама мне их читала. Как я к нему ехал, не помню, помню только, что был он в Канском районе: такой поселок Ирбейск, где мы впоследствии жили, но сначала мы приехали в Канск, это было летом 1942 года, там мы и встретились... И с тех пор жили вместе. Он очень быстро овладел профессией бухгалтера, стал главным бухгалтером промкомбината. Директор там был пьяница, технолог тоже пьяница, так что всем руководил отец. Директором был там бывший заместитель генерального прокурора Таджикистана, тоже ссыльный. У него была отличная команда – профессор Столыгво, известный врач, после войны тоже. Был адвокат Минкович, сейчас ему уже 91 год, живет в Израиле. Это была одна компания. Был у них драматический коллектив, ИХАТ - Ирбейский художественный театр. Ставили пьесы, брали

и меня на репетиции, на спектакли. Прокурорам и начальникам КГБ очень хотелось войти в эту компанию. Был там такой начальник районного КГБ Воробьев, которого они между собой звали Воробей.

Помню, когда нас везли, на станциях был кипяток, мы должны были бежать за ним, между вагонами стояли солдаты, следили.

Я ходил в школу, во 2-й класс. В 1-й класс мама меня не пустила, боялась. Сын Столыгво учился в 5-м классе. В 1946 году мы переехали в Красноярск. Там был завод, на котором производили спирт, отца пригласили главным бухгалтером. Дали нам трехкомнатную квартиру. Там я пошел во 2-й класс и там же в 1946 году родился мой брат.

Отец все годы, после возвращения в Ригу в 1956 году, работал в адвокатуре, в 4-й Рижской юридической консультации. Работал почти до 80 лет, не хватило всего трех или четырех лет. У отца была хорошая практика. Мама еще в Красноярске начала учительствовать, преподавала немецкий язык, продолжала работать и в Риге.

В 1951 году к нам домой пришли офицеры из КГБ и сообщили: «Ваш младший сын сказал в детском саду, что Сталина надо убить». Все стены были увешаны портретами Сталина. Существовала 58-я статья. Первый раз родители мне кое-что рассказали в 1952 году, когда было начато так называемое «дело врачей». Они были просто убиты, все чувствовали, что в Риге уже готовы эшелоны, чтобы всех евреев депортировать в Биробиджан. Они это ощущали. В 1949 году отец ездил в Москву с годовым отчетом, заехал и в Ригу. У него здесь были знакомые, умные люди посоветовали ему возвращаться в Сибирь. В 1949 году высылали вторично. Если бы мы вернулись, нас бы тоже выслали. Отец рассказывал, что наша квартира пустует. Тогда было много пустых квартир. Так и остались мы в Сибири и жили там до 1956 года. Там я ходил в школу, был пионером, на 70-летие Сталина читал доклад на большой конференции, у меня был хороший звонкий голос. Родители своими мыслями со мной не делились. Когда началось это известное «дело врачей», отец вернулся из Москвы и сказал, что у него нет слов, он был страшно подавлен. В школе у меня было все нормально, были друзья, не было проблем ни из-за того, что я ссыльный, ни из-за того, что я еврей, и во время «дела врачей» тоже.

Один раз в неделю все должны были отмечаться. Вначале отец работал на спиртовом заводе, потом его взяли юрисконсультом в отдел торговли. Оттуда все попали в тюрьму, отец единственный ничего не подписывал, и он продолжал работать.

В кампании 1952 года пострадали прежде всего врачи. Но чувства у всех были одинаковые... Помню, пришел в субботу из школы, все такие веселые, радостные. Спросил, в чем дело, и мне сказали, что

все врачи реабилитированы, врач Тимошук арестована, родители дали мне денег, и я отправился на школьный вечер.

Школу я окончил в 1954 году и стоял перед выбором: что делать? Мама хотела, чтобы я поступил в медицинский институт, но меня это не очень привлекало. Хотел поехать в Томск, где был университет, но родители сказали, что туда я ни в коем случае не поеду – там находится наше дело с отметкой «хранить вечно». Надо было выбирать – или в Красноярский лесотехнический институт на факультет химии, или в медицинский. Я подал документы в медицинский институт. Там было легко, мальчикам отдавали предпочтение. Учился я хорошо, без проблем сдал экзамены и поступил в Красноярский медицинский институт.

Отучился там два года. В 1956 году приехал в Ригу и продолжил учебу уже здесь. В Красноярске преподавали вся профессура, которая в 1952 году вынуждена была покинуть Москву. Были профессора анатомии, микробиологии, кого недавно выпустили из лагерей, они в свое время работали с Кохом. В институте были очень интересные люди. Заведующий кафедрой биохимии доцент Едигаров в свое время был ректором Бакинского университета. Учиться было интересно. В 1956 году отца реабилитировали, и он в Латвию уехал первый. У него жила здесь двоюродная сестра, и он у нее поселился. Я приехал к отцу, и мне дали место в общежитии. Существовало положение, по которому все реабилитированные могут получить квартиру в Риге. Отец узнал, что из одной коммунальной квартиры семья выезжает в Израиль, и попросил две комнаты в коммунальной квартире. ${\cal N}$ тогда приехала мама с братом. Семья, которая уезжала, была очень богатая. Интересно, что они могли взять с собой одну автомашину, один телевизор. Тогда была возможность выехать в Израиль. Жили мы на улице Стабу, 19, где в 1987 году случился пожар. У нас там были две комнаты в коммунальной квартире, я продолжал учебу в Рижском медицинском институте, который окончил в 1960 году. На 3-м курсе хотел стать хирургом, много дежурил. Получил направление в Дагду, работал там хирургом. В 1962 году поступил в аспирантуру, после того как отработал два года. Никаких притеснений в отношении себя не чувствовал.

Сейчас я старший профессор в больнице им. Страдиньша. После окончания аспирантуры работал в Отделении экспериментальной хирургии

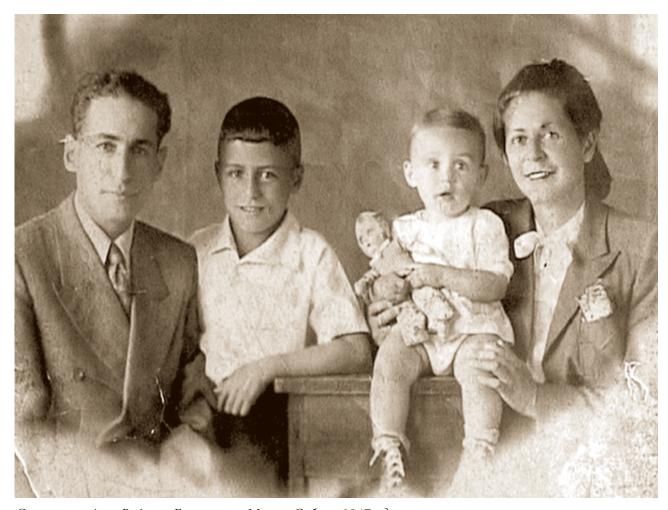
Центральной научно-исследовательской лаборатории, где защитил кандидатскую диссертацию, затем докторскую, в 1976 году здесь появилась вакансия, я пришел сюда, и работаю вот уже 30 лет.

В 1997 году умерла моя мама, через три месяца умер и отец. Отец был очень организованный человек, не пил, не курил, следил за собой. И хотя он был в лагере, не было у него никаких характерных для лагеря болезней. Дожил отец до 90 лет. Приехал в 1956 году, в 1958 году начал работать в адвокатуре города Тукумса, а потом все время в 4-й Рижской юридической консультации. Когда на улице Стабу сгорела квартира, ему предоставили квартиру в Иманте. Вот тогда ему уже было трудно. Началась Атмода, кооперативы, он оказывал большую помощь. Умный был человек, голова у него была светлая, но он не распространялся о своей жизни, разговаривать на эти темы мы с ним начали, когда он уже был в очень почтенном возрасте. Сказал, что чувствует за собой вину, что обо всем этом не

рассказал мне раньше. Он хорошо знал историю евреев, но об этом не рассказывал.

Когда мы были в Нарыме, там же жила семья Алкс: Оскарс Алкс, директор медицинского департамента, и два его сына – Дзинтарс и Андрейс. Начинали мы в Красноярском институте, вместе проучились два года. Латыши, крепкие студенты. Они бегали на лыжах лучше других, сделали хорошую карьеру. Когда сюда приехал, думал, что все латыши такие. Потом узнал, что это совсем не так... Жили они в Минусинском районе, намного дальше, чем мы.

Я не знаю, почему отца так быстро отпустили из лагеря. Выпустили его и профессора Столыгво. И его отправили в Ирбейск. Столыгво был лагерным врачом, написал, что отец не пригоден для работы в лесу. Знаю, что многих освободили, многие рижане были в Соликамских лагерях. Не помню, как маме удалось перебраться в Ирбейск, мне об этом не рассказывали.



Слева: отец Леон, Рафаэль, Борис, мать Мария. Сибирь, 1947 год

Латвию я не помнил. Были знакомые, они договорились, что я смогу учиться на 3-м курсе в Рижском мединституте. У меня здесь никого не было. На 3-м или на 4-м курсе надо было учить латышский язык. Не скажу, что это было для меня просто, поэтому на распределении сказал, что поеду в Латгалию. Когда приехал в Латвию, круг моих знакомых ограничивался сокурсниками, так это осталось и по сю пору. Кто-то уже умер, кто-то живет в других странах.

Об эмиграции задумались однажды. Мы с женой и двумя детьми жили в коммунальной квартире. Было трудно. И подумал, что пора эмигрировать. Отец был уже стар, он сказал: «Если хочешь, подавай документы!». Брат сказал, что не поедет, сын сказал, что не поедет. Жена сказала, что у нее еще жива мать в Калининградской области. Такой у меня был выбор. И еще раз было подобное. В 1990 году, так как дети уехали, непонятно было, что здесь будет. Подумал: «Съезжу-ка я к детям».

Походил по клиникам и решил, что в Латвии мне будет не хуже.

Ведь тогда носилось в воздухе: «Так или иначе уеду!». Со мной такого не было. Отец не вмешивался. Когда работал в Дагде, был членом бюро райкома комсомола, секретарем был Бресис. Мне сказали – надо вступать в партию. Пошел к отцу, он сказал: «Делай, как хочешь!». Если бы он сказал: «Нет!», я бы не вступил. Так оно все было. Отец никогда не пытался давить на меня. Точно так же и я относился к своему сыну, и в 1990 году он уехал в Израиль.

У меня замечательная семья, вместе мы уже 46 лет, есть внуки. Условия работы хорошие, 30 лет на одном месте, занимаюсь трансплантацией. В коллективе украинцы, латыши, русские. Работа нравится.

Чувствую, что в СССР я бы не хотел вернуться, там такие дела творились. В Америку никогда не хотел уехать...



Рафаэль (справа) в Сибири. 1954 год



ЮРИС РОЛАВС

родился в 1940 году

В 1941 году, когда нас вывезли, как рассказывала мама, отца с семьей разлучили. Вышло так, что мы с мамой и все женщины с детьми оказались в одном эшелоне, а отца посадили в другой, так я его и не видел. После войны, в 1948-м или в 1949-м мы писали в Москву, нам ответили, что он умер в Кирове в 1944 году.

По рассказам, привезли нас в Туруханск. Первые годы с пропитанием было очень трудно. Конина – это если лошадь пала – считалась деликатесом. Мама сначала была в рыболовецкой бригаде. Вообще было нам очень тяжко. У мамы было среднее музыкальное образование, ее взяли в детский сад музыкальным воспитателем, тогда жизнь наша, естественно, немного наладилась. Но было это через два или три года.

А эти два года... Как рассказывала мама, хорошо, если удавалось принести домой хоть какуюнибудь мороженую рыбу. И с хлебом было очень тяжело.

Маме удалось нас вытащить, потому что в детском доме она была авторитетом. Когда стали появляться американские продукты, нам тоже перепадало – мясо, но только по праздникам. Зимы там были суровые. Помню, прыгал с крыши, с головой проваливался в сугроб.

Сообщение там было только летом, с июня по сентябрь Енисей был судоходен. Ходили пароходы «Орджоникидзе», «Ульянов», «Сталин» –

двухпалубные, пассажирские. Те, кто уезжал, только и могли добраться пароходом, другого сообщения не было. Зимой место было пустынное, деревня, одним словом. Норильск был в 200—300 километрах. Вспоминается, что в то время я совсем обрусел.

Когда приехал в Латвию, три года учился в русской школе, в латышской школе остался на второй год, в 3-м классе, но школу окончил латышскую. Когда приехал в Латвию, считался сиротой, и как сирота окончил и музыкальную школу.

Первое, что я помню о Сибири, это электричество. Как я удивлялся, не мог понять, как оно появляется и исчезает. Первое время жили ведь при лучине, какие-то лампы были, электричества не было.

В последний год в Сибири был такой случай – это я хорошо помню. Какой-то немец отрубил калмыку голову, за то, что тот назвал его фашистом. Этот немец работал в магазине продавцом, был очень умный. Мама с ним все время разговаривала. Входит калмык и говорит: «Ты фашист!», а он возьми да и отруби ему голову. И все русские стали немца ловить, бегали за ним по деревне и, в конце концов, его застрелили. На Енисее еще тогда лед шел. И их обоих хоронили. Гробов не было, и их на веревках опустили в могилы. Немца в воду, могила мокрая была, у калмыка сухая.

Мама о Латвии рассказывала. Я думал, что Латвия и Рига — это одно и то же. Рассказывала, что у нас там остались родные, что мы из далекого города и что мы обязательно туда вернемся. Надежда все время была. Мы там считались вольнопоселенцами.

Благодаря маминой сообразительности, меня привезли домой. Когда нас высылали, взяли и

маминого брата, которому было 12 лет. Мы говорили – у него другая фамилия, Судников, а мы Ролавсы, на что чекисты ответили – ничего не знаем, всех, кто здесь находится, вывозим.

Вышло так, что мы с мамой и все женщины с детьми оказались в одном эшелоне, а отца посадили в другой, так я его и не видел.

Как общались с ровесниками в ссылке? Нас не принимали, смотрели, как на врагов. Обзывали фашистами. Когда вернулся в Латвию, не хотели принимать ни в пионеры, ни в комсомол.

Мама много рассказывала о Латвии, какие здесь коровы, какие овечки. Когда приехал, какое-то время жил в деревне, увидел, какие они, овечки. В 46-м, 47-м колхозов еще не было. Люди смотрели на меня, думали – ну, Юрис, тебе надо «казачок» плясать. Ровно бы человек, приехавший из России, должен быть специалистом по «казачку». Что-то слышали про это.

Латышского не знал. Там мы говорили по-русски. И с мамой. Здесь, когда приехали, были у нас бабушка и дедушка. Три года ходил в русскую школу. Но жили мы в латышском окружении, там, где был наш дом. Сначала жили на улице Ригас. Помню, как в 1949 году боялись – как бы не увезли второй раз. Маму ведь увезли. Стояли на улице с чемоданами. На улице Ригас, на главной улице.

Дом в Вентспилсе, квартира – все было национализировано. Так я и остался у бабушки с дедушкой. Но второй раз не взяли. Может быть потому, что дедушка был когда-то поваром у царского генерала. Хотя ему принадлежала небольшая гостиница на улице Ригас. Помню, сидели на чемоданах. Люди в то время были перепуганы. Чтобы не задерживаться, когда скажут, что надо выходить. Все было приготовлено – сало, хлеб, но не забрали.

Мама приехала, успела пожить год, но там ею уже стали интересоваться. Коррупция была и в те времена. Мама была музыкантом, играла в ресторане «Юра». Это был самый популярный в Лиепае ресторан. Прописалась она в деревне, в Снепеле, в Кулдигском районе. Целый год все было хорошо. Надо было ей прописаться в Лиепае. Это я хорошо помню — стала к нам приходить какая-то женщина, монгольского типа: «Здесь живет некая Ролава Людмила Исаковна? Так и так, надо будет прописаться». Мама уже год жила спокойно, решила,



Отец Вилис, мать Лудмила в своей мясной лавке



Юрис с мамой в Сибири.

что и в Лиепае можно теперь прописаться. А там был начальником милиции некий Карклиньш – за прописку потребовал 5000 червонцев, тогда он, мол, все устроит, мама останется в Латвии. Ну, мама думала – раз она прописана, зачем платить, да и денег таких не было. Когда приехала из Сибири, в разных туфлях ходила – на одной ноге такой, на другой – другой. Жили бедно. Денег и не заплатила. Приходит через какое-то время повестка – приходите прописаться. Забрала документы из деревни, пошла, ну, тут ее сразу и забрали. Было это в 1947 году. Нам разрешили с ней возле тюрьмы проститься. Дали пять лет за побег. После смерти Сталина началась амнистия, стало лучше, у нее уже работа была хорошая, музыкантом, замуж вышла. Появилась у меня сводная сестренка. Был такой Петр Карелов.

А что с вами было? Я жил у бабушки, меня не взяли. Хотя в милицию пошли вместе, и маму забрали. Пошел в школу, сначала в русскую, перешел в латышскую, окончил музыкальную школу. Читаю вот о Раймонде Паулсе. Путь у всех был одинаковый – с алкоголем расстались, были популярными,

играл на пианино, на контрабасе, два года в Литве играл, в 60-м пришел работать на лиепайский «Металлург», художественным руководителем самодеятельности, в те времена в каждом цеху должна была быть своя самодеятельность. Были эстрадные ансамблики. Проработал на заводе 41 год.

Вообще-то это чудо, что мама смогла нас в те первые годы сохранить. Приносила то рыбу мороженую, то кусок конины. И хлеба кусок приносила. Летом ягоды, кедровые орехи. В лес ходили.

Болел корью, а так ребенок я был здоровый. Один только раз, но мама сделала это специально, чтобы я смог уехать, чтобы сбежать оттуда. С диагнозом «аппендицит» ей разрешили поехать в Красноярск. А там железная дорога, а там... В то время не очень и проверяли. А вот когда она этим господам не заплатила...

Вспоминаются сибирские крутые берега, как мы ехали, как мама убегала из Сибири. Там очень красиво – недели две надо было плыть по Енисею до Красноярска. От пристани до пристани, где стояли люди в ожидании парохода. Помню, однажды почему-то стали кидать в пароход камни, бить стекла. Пароход эту пристань миновал, не остановился.

Помните ли вы, что играла мама в Сибири? Сначала русские частушки, русские мелодии. Потом стала переписываться в дедушкой, с Лиепаей. У дедушки был знакомый учитель, такой Бисениекс, который преподавал в музыкальной школе. Прислали ноты «У голубого Дуная», «Амурские волны» – бандеролью.

На гармошке она играть не умела, играла на пианино. В конце уже и на баяне научилась. Но начинала на пианино. Вокруг дивились – как на пианино играет! Как это можно? Считалась там как бы избранной. Так она и выделилась, и дела шли все лучше и лучше.

Когда я в 1947 году приехал, занимался у преподавательницы Наудниеце. Мне нравилось играть, записывать мелодии. Государство поддерживало, раз в год на Октябрьские праздники или обувь в награду выдаст, а то брюки, фрак.

Вообще-то мама, как националистка, в конце жизни русских терпеть не могла. Да и мне они ничего хорошего не сделали. Но по-русски говорил, работой был доволен, 40 лет проработал. Когда работал в Литве, приглашали играть на Черное море, на судах. Не знаю, как бы жизнь повернулась, если бы дал согласие.

РИТА РОНЕ (СИЛИНЯ)

родилась в 1927 году



Отец был кавалером ордена Лачплесиса. В 1939 году он продал свое новое хозяйство и купил дом в Цераукстской волости.

Семья наша состояла из мамы, папы, дедушки и бабушки и троих детей. Было у нас свое хозяйство – 15 коров и свиньи. Брат на год старше меня, сестра на 10 лет младше. Мы с братом ходили в основную школу. Весной 1941 года я окончила шесть классов, а 14 июня семью нашу выслали, дедушка с бабушкой остались в Латвии.

Вывезли около четырех утра. Отец вывел на пастбище лошадей. Мы еще спали. Брат собирался на Мемеле ловить рыбу. Во двор въехал грузовик, вышли трое, один из них русский, другой знакомый. Он работал на молокозаводе, истопником, гостил и у нас в доме. Отец на заводе работал кассиром. Велели за час собраться. Сказали – перевезут для безопасности. Отец мог убежать в лес, его предупреждали, что будут забирать людей, но он не верил.

Отец вернулся с пастбища. У нас была большая плетеная корзина, русский сказал, чтобы сложили все хорошие вещи, чтобы взяли продукты. Было полмешка копченого мяса, мы до этого забили свинью. Бабушка умела ткать, было много одежды, и взяли много.

Сложили все в машину, и повезли нас на станцию Иецава. Сестричке было четыре года, помню, как отец поднял ее на руки, завернул в свой полушу-

бок – ехали мы в открытой машине. На станции стоял эшелон, набитый людьми. Вдоль вагонов стояли солдаты. Двое из них подошли к отцу – вы Ронис? Хозяин? Следует пройти расписаться. И отца увели во второй эшелон. Мама плакала. Нам велели сесть в вагон.

В вагоне были нары в два этажа, полно людей. Задвинули двери, все наши вещи остались в машине, забросили нам только один узел. Незамеченным в вагоне остался один мужчина. Было ужасно жарко, воды мало. Кажется, первые два дня ехали без остановок. Хотелось пить, и если шел дождь, высовывали в окно посудину, чтобы хоть чуть-чуть натекло.

Пришли с проверкой, мужчину, который пытался остаться со своей женой и тремя детьми, все-таки нашли. Вызвали, чтобы расписаться. Мы уже знали, что он не вернется. На третий день на какой-то станции принесли суп – плавали крупинки в воде.

В Красноярской области, на станции Козулька, всех высадили. Были семьи с вещами, но были и такие, у кого ничего не было. Из колхозов приехали набирать работников. Забирали тех, кто покрепче. Нас посадили на длинную телегу и привезли в село Сергино. Поселили четыре семьи в одной комнате, где не было ничего, кроме сбитых из досок коек. Наносили соломы, чтобы было на чем спать, у кого-то были и одеяла. Грязно было до невозможности, клопов тьма – они вереницей ходили по стенам и сыпались с потолка.

Местным русским наговорили, что к ним везут кулаков. Может быть, они и поверили, люди были необразованные, ни читать, ни писать не умели. Но когда они увидели, что привезли женщин с малыми детьми, и сочувствие проявляли, и поддерживали –

приносили молоко, хлеб.

Рядом находилась школа, мама устроилась там уборщицей. Село выглядело так: одна улица, вдоль улицы по обеим сторонам стояли избы на каких-то возвышениях. Скотина

Мамочка в ночной Рубашке лежала, гроба не было. В больнице дали простынку, чтобы маму завернуть, дали лошадь. Так в простыне мы ее и похоронили...



Рита с мужем Юрисом и сыном Айварсом и сестрой Айей. Латвия, 1951 год

свободно гуляла по полям. Нам выделили огород, сколько сумели, столько вскопали, надо было чтото посадить. Продуктами делились. Председателем колхоза был латыш, Маевский, который жил там со времен Первой мировой, женился на русской. Когда увидел сосланных из Латвии, прослезился. Он часто заходил к нам – язык вспоминал.

Вокруг простирались леса. И нас отправляли на работу в лес. В июне 1942 года брата забрали на Север, а было ему тогда всего 15 лет. Остались мы втроем. Мама ужасно переживала, морально совершенно сломалась, потом заболела дизентерией. Отвезли ее в больницу в Козульку, там она и умерла. Пришел бригадир и сказал, что мама умерла. Это было ужасно – брата нет, сестренка маленькая.

Надо было маму похоронить. Бригадир дал мне в помощь русскую женщину, Дусю. В Козульку надо было ехать на поезде. А там полно, даже двери не открывали. Уцепились за перильца, так и ехали на ступеньках. Дуся, местная, знала, где больница. Мамочка в ночной рубашке лежала, гроба не было. В больнице дали простынку, чтобы маму завернуть, дали лошадь. Так в простыне мы ее и похоронили...

Местные русские сочувствовали, знали, что мы остались с сестрой одни. Ходили в лес, валили деревья, могучие лиственницы. Мошкары в лесу было видимо-невидимо, на голову натягивали сетки, чтобы хоть глаза не выедала. Существовала дневная норма.

Жили там год. Пока я работала в лесу, сестра сидела дома. Хлеб выдавали строго по норме – рабочим 400 граммов, остальным – 200. Постоянно хотелось есть. В лесу росла черемша, крапива. Из нее варили суп. Но соли не было. Ходили на железную дорогу, искать. Иногда из дырявых мешков, которые везли по железной дороге, соль высыпалась на полотно. Тогда и нам доставалось.

Потом кому-то показалась, что мы стали слишком хорошо жить, начальником у нас был латыш, и в 1943 году нас переправили в деревню Бадаложная. Вещей никаких не было, ехали на быках. Подъехали к ручью, быки напились и улеглись отдыхать, потом поднялись и пошагали дальше.

И снова все четыре семьи разместили в одной комнате. Работали на лесопилке, я выносила опилки. Рядом была шахта, где добывали каменный уголь. Там норма хлеба была 800 граммов, остальным 400. Сейчас столько хлеба и не одолеть, а тогда ничего кроме хлеба и травы не было. Пошла я работать в шахту. Детей, оставшихся без родителей, собирали в приют. Брат был далеко, сестренка маленькая, я ее очень любила и не отдала. Она просила хлебца, я не ела, отдавала ей.

Еще дальше в лесу, еще с Первой мировой войны, жили латыши Наглисы. Они уже обжились, были у них и пчелы. Узнали, что мы остались одни, приехали, стали просить, чтобы отдала я им сестру, пусть у них поживет. Сестренке было шесть лет. Было жаль, но и выхода другого не было. Через месяц привезли ее мне – показать, щечки розовенькие. Они жили в достатке, привезли мед и молоко и мне. Сестра прожила у них всю зиму.

Весной в шахте случился обвал. Хорошо, что меня там не было.

Хлеб – четырехугольные буханки – привозили в мешках из города. И нам с Региной, дочкой директора Лигатненской бумажной фабрики Бергса, поручили возить хлеб. Ездить за ним надо было за пять километров на поезде. А ехали и всякие жулики. Поезд переполнен, и мы со своими двумя мешками ехали на ступеньках. Подходит русский, спрашивает, что у нас в мешках. Регина притворилась немой.

Делил хлеб Коля, рыжий молодой парень. Мы познакомились, разговорились, и он нам дал две буханки лишних. Наелись, по крайней мере.

Последнее место, куда нас перевели, называлось Тупик. Сестру не оставила, взяла с собой. Обе бабушки в Латвии не знали, где мы. После войны появилась возможность переписываться. Мы отправили в Латвию письма-треугольники. Стали приходить письма и в Сибирь. В 1945 году в Латвии все было порушено. Бабушка, что жила в Вецсауле, плела корзины на продажу, посылала нам деньги, сколько уж могла. Дедушка умер, она осталась одна. Вторую бабушку, у которой было хозяйство, не выслали, но «раскулачили» – отобрали всю землю, отдали новым хозяевам. Во время войны в дом попала бомба, хлев сгорел – ничего не осталось. Но и она при всей своей бедности присылала нам деньги.

После войны поползли слухи, что всех сирот до 18 лет будут отправлять на родину. В Красноярск прибыла комиссия, были там и латыши. Помню одного из членов комиссии – симпатичный молодой человек Уртанс Валдис. Мне было уже 19 лет, списалась с бабушками, они ответили, чтобы прислала хотя бы сестру. Привезла сестренку в Красноярск. Ей пришлось ждать неделю, пока не собрали всех детей из детских домов. Меня Уртанс спросил: «А вы не хотите уехать? Только никому не говорите, вы будете в списках вместе с сестрой. Скажете бригадиру, что сопровождаете. Из вагона никого не высаживают». Я ему поверила, так хотелось вернуться на родину. Сказал, что пришлет телеграмму, какого числа я должна явиться. Бабушка прислала посылку - крупу и топленое масло. Когда получила телеграмму, что надо проводить сестру, все пустила в дело – устроила прощальную вечеринку. Бригадир Петя относился к нам хорошо, и когда я сказала, что должна проводить сестру, он, вероятно, понял, что я не вернусь, но все же отпустил. Наш вагон прицепили к скоростному поезду. Проезжали мимо деревни, где я жила. Все латыши стояли, махали рукой. Они тоже провожали своих детей в Латвию.

Так я и приехала 30 августа 1946 года. Целую неделю в Риге провели в карантине. Жили в детском доме, выдали всем одинаковые клетчатые платья, отправили в баню. И вот мы приехали к бабушке.

Брат не приехал, на Диксон никто за детьми не поехал.

Было страшно. Папина мама жила в Вецсауле, вторая бабушка и дедушка – в Яунсауле. Прописалась в Вецсауле. В то время все трудоспособные должны были выполнить норму по заготовке дров. Председателем в Вецсауле был Даугавиетис. Он когда-то снимал жилье у отца, сейчас был с нами очень любезен. Никаких норм по вывозке дров он мне не выставил.

Потом пожила у другой бабушки, помогала по хозяйству. Но мне всегда казалось, что за мной следят. В 1947 году я причастилась. В 1948-м устроилась работать на Яунсаулский молокозавод. В 1949 году стали высылать снова. Видела подводы с людьми и вещами. Хотелось бежать, но куда – каждый день надо было идти на работу. Но Господь уберег.

Брат первый написал письмо, мы отправили ему небольшую посылку. Не виделись 15 лет. Начало у него было очень тяжелым, на промысловом лове. Потом стал бригадиром, были сыты. Когда хотел уехать в Латвию, в НКВД сказали – мы-то отпустим, а вот отпустит ли предприятие? А потом дали отпуск и даже оплатили дорогу. Но до этого заключили с ним договор на три года. Приезжал в 1952 году и вернулся обратно.

Отца в последний раз видела на станции Иецава. Когда приехали в Ригу, обратились в министерство. Там отдали нам его паспорт. Умер он в Гулаге в феврале 1942 года. Гоняли их в лес, не кормили, заставляли работать. Он, как и другие там, умер от голода. Рассказал об этом Гросбергс из Вецсауле, который был вместе с ним, но выжил.



Слева: Айя, Рита, Эвалдс. Латвия, январь 1940 года

ЭВАЛДС РОНИС

родился в 1926 году



Родился я 23 марта 1926 года в «Чапаны» Вецсаулской волости Бауского района.

Окончил шесть классов в Вецсаулской волости, в средней школе в Бауске окончил 7-й класс, но на выпускной вечер не попал.

У отца было новохозяйство «Дампениеки», у дедушки — «Чапаны». Коров гоняли из одного дома в другой — 14 коров. В 1939 году, когда из Латвии репатриировались в Германию немцы, отец свое хозяйство продал и купил «Чапаны». Когда пришли русские, землю отняли, оставили 30 гектаров. Крестный сказал: «Ронис, ты в черном списке. Много хочешь, мало получишь!».

В ночь перед выпуском – 14 июня – нас разбудили. Вошли солдаты с винтовками. Приказали сдать оружие и собрать вещи. Нас высылают в Сибирь. Складывали теплую одежду, костюмы сложили в корзину. Еды взяли впрок, на месяц. Солдаты помогали собираться, хорошую одежду складывали в корзину, попроще – в мешки.

Через Бауску привезли на станцию в Иецаву. В машине было три семьи. Главы семейств должны были идти регистрироваться. Отец ушел, в чем стоял, только рукой помахал. В газете «Литература ун Максла» написали, что умер он в 1942 году в Вятлаге.

Мне было 16 лет, сестре 15, а младшей Айе неполных пять лет. Приказали зайти в вагон. Солдаты подали мешки из машины, а корзину с хорошими вещами оставили в машине и уехали. Хо-

рошо, что была еда и белье.

Ехали больше 20 дней. За Москвой узнали, что началась война. Навстречу везли военную технику. А нас привезли в Ачинск, это за Красноярском. Спали на голой земле. Провели так недели две.

Забрал нас к себе колхоз. Мама говорила по-русски. Запихнули нас в телегу и повезли в Козульский район. Выделили на несколько семей комнату. Она давно пустовала, и когда затопили, с потолка посыпались клопы, спать было невозможно. Привезли нам мешок муки. Ходили обменивать вещи, достали жиры, оказалось это замороженное молоко. Пекли из муки блины, сковородку смазывали пчелиным воском. Работали – копали картошку, заработали мешок.

Документов никаких не было, ходили отмечаться.

В колхозе кончился хлеб. И отвезли нас на станцию Тупик, там была лесопилка. В день давали 600 граммов хлеба.

В 1942 году привезли народ из Ленинграда. В мешках у них были деньги – за яйцо давали 100 рублей. А мы зарабатывали 30 рублей в месяц. Ленинградцы привезли с собой пироплазмоз, все мы начали болеть. Болел и я.

В мае 1942 года стали вербовать на лов рыбы. Мне было 16 лет, я тоже записался – думал, осенью вернусь. Был я среди всех самый младший.

Месяц везли по Енисею вниз. Привезли в Иннокентьевку – в 100 километрах от устья. Ловить надо было сетями. Рыба была вкусная. Разрешалось взять одну, две рыбины. Одну съедал, другую засаливал впрок, надеялся осенью привезти домой.

Наступила осень. «Никуда не поедете, стройте дома, здесь и будете жить!» Все лето жили под лодками. Осенью привезли бревна, грузили в шта-

беля. Сломал ногу. В больнице был врач Лехс, латыш, — еще с революционных времен. Рад был, что есть с кем поговорить. Пролежал два или три месяца. Нога зажила, но хромал. Ловить не мог. Стал плести лапти.

Все лето жили под лодками. Осенью привезли бревна, грузили в штабеля. Сломал ногу. В больнице был врач Лехс, латыш, — еще с революционных времен.

Обуви не было. За одну пару лаптей давали рыбину. В день мог сплести одну пару.

Зиму 42/43 года прокантовался, потом собрали тех, кто не мог ловить, отправили в Сопкаргу. Жил там до 1945 года. А там ловили и зимой, и летом. Предложили мне поехать на Диксон, стрелять тюленей. Народу было много – трое латышей, русские, литовцы, немцы.

Погрузили вещички на санки, дали хлеба на месяц, и пошли мы 300 километров вдоль берега Енисея. В день проходили 20 километров. Встречались зимовья, жили там охотники на лисиц. Если охотника дома не было, на столе обязательно записка — еда там, питье там, дрова там, табак там. Чувствуй себя, как дома. Шли до следующей точки. За две недели дошли до Диксона. Двери никто не запирает, может в пути настичь пурга. На Диксоне нас встретили, выдали ружье, крупу и послали каждого на свое место. Я оказался на острове Новый Диксон. Местность каменистая, велено было стрелять по цели. Ездили на охоту на собаках. С собой

металлическая лодка, из жести, багор и большой крюк, чтобы тащить добычу.

Добирались до самого края льдины, тюлени выбирались на льдину подышать. Тюлень жирный. Мороз 30–40 градусов. Как только убил, тут же надо было сдирать шкуру с жиром.

Беда была с белыми медведями – они тут же шли на запах жира. Стрелять их было запрещено – «аварийное» мясо, на случай, если самолет потерпит аварию. Мы их отстреливали как воров. Надо было сдать шкуру и составить акт. Я 18 раз участвовал в охоте на медведей.

Сначала я был там единственный латыш, был немец, бригадиром был ссыльный из Забайкалья. И поехал я на охоту один. Обычно отправлялись вдвоем. Было дело после шторма, во льду трещина. Собаки и провалились. И я со всей лодкой по горло в воде! А выбраться никак – глубина 200 метров, до берега километра три.

Бригадир возвращался домой, и его собаки почуяли неладное. Он повернул назад, вызволил меня,



Слева: Рита, Айя, мать Алисе, сзади отец Мартиньш, Эвалдс. Латвия, 1940 год

отвез домой. Потом поехал за спиртом. Выпил я этого спирта. Одежда заледенела. Но даже насморка не было!

На Диксоне существуют три времени года. С ноября по 1 февраля нет солнца. 1 февраля показывается его краешек. Люди все желтые, как проростки в погребе. И вот солнце все выше и выше, люди загорают до черноты, а обмороженные места остаются красными. И солнце три месяца не прячется, а к осени начинает понемногу опускаться все ниже и ниже за горизонт, пока совсем не скроется. Период охоты длится с октября по апрель, тюлени тогда не тонут, а весной лежат на льду и остается от них кожа да кости.

В июне вершины гор чернеют – прилетают гуси, и начинается гусиная охота. Вырежешь из фанеры пару-тройку, а то и пять черных гусей, воткнешь на палке в снег, гуси, когда прилетают, опускаются на землю. А ты сидишь в захоронке.

В июле появляются первые ледоколы, и начинается охота на дельфинов – на белух. Ставят

огромные сети, они в них запутываются, тонут, потом к лодке привязываешь и тащишь на берег. А в октябре снова охота на тюленей.

Письма я отправлял, но ответа не было. Только на Рождество получил от сестры письмо, что она работает в детском саду поваром и сестра при ней. Письмо о том, что умерла мама, до меня не дошло – цензура. Обо всем этом я узнал только в 1959 году, когда вернулся в Латвию.

Мама умерла от заражения крови. Люди там умирали, как мухи. Хоронили их в общей могиле. Не успевали – сарайчик был набит до отказа трупами. Могила отца в Вятлаге, мамина – в Тупике. Мама умерла осенью 1942 года, отец – весной.

Младшей сестре было пять лет, ее взяли в детский сад. В 1946 году приезжали представители из Λ атвии, увезли обеих. Жили у бабушки, потом у родни в Λ итве.

Младшая сестра окончила среднюю школу в Яунсауле, потом работала в Бауске продавщицей, замуж вышла за студента – будущего ветеринарного



Эвалдс в Сибири

врача. В прошлом году умерла. Старшая сестра живет в Вецумниеки.

Меня домой не отпускали. Пил тюлений жир, и за три месяца вырос на 30 сантиметров, стал в два раза толще. Ни одна одежка не годилась. Рядом был аэродром, друзья поделились формой. У нас была «бронь» – в армию не призывали.

Когда умер Сталин, дали нам паспорта, но годились они только в Красноярской области. Я уже тогда бригадиром был. Заключил договор на три года, потом уехал в отпуск, дорога бесплатная.

Договор истек в 1956 году, хотел поехать проведать сестру. Но надо было заключить новый договор, и только тогда я мог уехать. Человек я был подневольный – в подчинении НКВД. Выдали бумажку, что я в отпуске, и деньги. В Латвии обратился к адвокату, написали в Москву, в прокуратуру. В январе я вернулся. И меня вызвали – согласно постановлению Верховного Совета Латвии с января 1957 года я являюсь свободным гражданином.

Отработал срок, оговоренный договором, и в 1959 году вернулся в Латвию. В Латвии все казалось странным – куда ни повернись, везде колхозы. Сестра работала на Яунсаулском молокозаводе, вышла замуж, муж ее был мукомол. В Риге познакомился с охотниками, играли в Верманском саду в карты. Пьяницы они были еще те.

Шнёре записал меня к себе. До этого я побывал у Гайды, которая вышла замуж за Димитерса. Сходили на Братское кладбище, помянули усопших. Там я познакомился со своей будущей женой Дзидрой. Через год поженились. Надо было искать работу. Пришел на ВЭФ, предложили пойти фрезеровщиком. Понравилось. Отработал 34 года – с 1960-го.

Если бы не познакомился с Дзидрой...

Был в депрессии: работы нет, жить негде, хотел даже уехать обратно на Диксон. А когда прописался и стал работать, никуда уезжать больше не хотелось.



Эвалдс в Сибири

ВИЗМА РОНЕ (РАСА)

родилась в 1929 году



Я Визма Кайя Роне, теперь Раса.

Отец был пограничником, в звании капитана, служил на границе Латвия – Литва, мама была домохозяйка. Жили в Ауце. После того, как вошли русские, отец в последний раз встретился с генералом Болштейнсом, на границе. Они оба быстро уволились из армии, так как знали, что предстоят аресты. Отец устроился на работу на Элейскую таможню, оба с мамой, там нас и застало 14 июня. Отец не предполагал, что будут высылать, считал, что его арестуют, так как все офицеры в таком же звании постепенно стали исчезать - по ночам. Отец был в гостях у генерала Болштейнса перед тем, как тот застрелился, они были друзьями. Они тогда попрощались, это рассказывала мама. Отец вернулся домой и назавтра узнал, что Болштейнс застрелился. Отец рисковал, увольняясь из армии, он сразу же уехал к маминому брату в Вилцскую волость, возле Мейтене, там у дяди было большое хозяйство. Это был Янис Ниедра. Там мы и остались.

Надо было жить, отец стал подыскивать работу. У него были знакомые в Елгаве, и он устроился в ветеринарную службу. На Элейском таможенном пункте как раз требовался человек. И все вчетвером мы жили в маленькой комнатке. Был выходной – суббота или воскресенье. Мы были в комнате, отец подошел к окну и сказал: «За мной пришли!» Наверх поднялись два чекиста, один в гражданском, двое в форме, один из них был латыш. Ему прика-

зали поднять руки. Мы заплакали, отец стал нас успокаивать. Сначала он стоял, потом ему разрешили сесть, а нам велели собирать вещи. Никто этого не ожидал, думали, что заберут только отца. Мама стала собирать все, что тут было, так как все наши вещи остались в сель-

ском доме, была только постель и кое-какая посуда. Мама хотела взять кастрюлю, где у нее поднималось тесто, но латыш вырвал ее из рук со словами: «Достаточно вы в Латвии добра извели!», и кастрюля покатилась по полу. Это мне запомнилось.

Русский оказался лучше, он помог маме, потому что видел ее отчаяние, он сорвал с кровати одеяло, помог сложить и увязать вещи. Если бы не он, мама уехала бы с пустыми руками. Он спустился вместе с нами вниз, отца посадили впереди, так и держал руки вверх, потом сидели чекисты, потом мы с вещами. В это же время взяли и маминого брата.

Встретились мы на перекрестье дорог из Элеи, увидели, что в упряжке сидит тетя — жена брата, сын, дочка и бабушка, мамина мама. Они, вероятно, искали нас, сказали, что и нас возьмут, потому что бабушка захватила и наши вещи, во всяком случае, у нас из вещей кое-что было. Привезли нас на станцию в Мейтене, засунули в страшные вагоны, на нары. Мужчин отвели в другой вагон. Мы знали, что они рядом. Маму успокоили, что они только поедут отдельно, когда приедем, все будут вместе, но отец через кого-то сумел передать ключи и еще какую-то мелочь, удивительно, что нам это отдали.

Кажется, пробыли мы там сутки. В Елгаве снова неожиданность — мужской вагон отцепили, мужчины вышли, их построили по трое в ряд и увели. Отец только и успел сказать: «Прощайте, мои дорогие!». Больше мы его не видели.

Дальнейший наш путь такой же, как у всех, -

пшенная каша, жуткий туалет. Когда эшелон миновал Зилупе, мама сказала, что мы в России. Все время в вагоне велись разговоры – может быть, нас не успеют увезти, придут

Я не знаю. Знаю только, что отец был самым близким для меня человеком. Он меня так любил, и мне его так не хватало. В тех условиях мы думали и надеялись.

немцы, вывозить прекратят, но ничего подобного не произошло.

Привезли нас в Красноярскую область, в Канский район, в поселок Каргинку. Самое начало было ужасным – нас встретили русские женщины, разглядывали, кто это приехал. Позже, когда уже перезнакомились, они говорили, что приходили смотреть, как выглядят буржуи. Когда увидели на телегах детей, поняли, что что-то не то, не могут же быть дети какими-то чудовищами. Разместили нас по избам. А потом начались мучения, потому что есть совершенно нечего было. Вначале еще давали сколько-то зерна.

Это считался колхоз, надо было работать. Мама выполняла разные жуткие работы, я тоже работала, было мне 12 лет. Ходила убирать сено, сажать картошку. Дали семена, посадили, нам сказали, сколько мы должны сдать. Мама говорила: «Отдадим налог, отдадим семена, зачем вообще работать?» Когда начинались холода, сажали чистить картошку, потом ее сушили, отправляли в армию. Эта работа была хорошая, хотя мыть картошку приходилось в холодной воде. Как только наступало лето, все начиналось сначала... Еды не было. Колхозницы иногда что-нибудь покупали – бабушка захватила с собой какие-то блузочки, платьица, носила продавать, приносила пару килограммов муки. Нам повезло, что мы были вместе с семьей маминого брата, с бабушкой. Но жить становилось все труднее, вещи уходили, а за работу в колхозе ничего не получали. Даже сами колхозники.

Осенью 1942 года повезли нас еще дальше, сначала в Красноярск, высадили на берегу Енисея. Ждали пароход, который должен был отвезти нас на Север. Практически две недели жили под открытым небом, заболела бабушка. Лил дождь, укрыться было негде, на ноги укладывали мешки. И нас обокрали. Кто-нибудь сидел всю ночь рядом с вещами, караулил, а вокруг шныряли жулики и забрали последнее. Наконец посадили нас на пароход, мы остались нам палубе, а пассажиры ехали в каютах. И ехали под открытым небом.

Увозили нас осенью, становилось прохладно. Высадили совсем на севере, в Хантайке, вначале были только палатки, но в палатках мы стали замерзать. Отыскалась старая конюшня, перебрались туда. Однажды утром проснулись оттого, что начал падать снег. Крыша оказалась дырявая. И женщины решили – чтобы окончательно не погибнуть, надо строить землянки. Участвовали все, дети тоже, деревьев там не было, кривые березки, мы их рубили, потом надо было вгрызаться в гору. Уложили березки,

между стволиками мох, потом уложили крышу. Не помню, кто дал нам чугунную печку. Это было такое несчастье – абсолютный голод. В землянке жило пять семей, умирали в основном дети. От голода раздувался живот, начиналась цинга, выпадали зубы. Как-то ночью, спали мы все – бабушка, я, сестра, мама, тесно прижавшись друг к другу. Ночью мама говорит: «Поменяемся местами». Умерла сестра. Через какое-то время умерла жена маминого брата, остались дети. Мама забрала их, но есть было нечего. 300 граммов хлеба давали тем, кто работал. Мы ходили ловить рыбу, но я еле веслами могла пошевелить, все-таки 12 лет. А на берегу строго смотрели – как бы себе не взяли, взамен рыбы давали горбушку хлеба.

Прошла зима, и мама заболела тифом. Сестру мы похоронили зимой. Весной, когда земля начала оттаивать, пошли с мамой, вырыли яму поглубже, засыпали гробик землей. Там росла кривая береза, я все собиралась поехать посмотреть, но там уже все сравняли с землей, ничего не найти.

Сколько лет было вашей сестре? Когда высылали, было ей восемь лет. Умерла она в ноябре 1942 года.

Голод был ужасающий. Как мы выжили, не знаю. Весной нас снова погнали дальше, снова на пароходе. Привезли в совхоз на берегу Енисея напротив Дудинки – только-только совхоз создавался. Велено было нам рубить кусты. Накануне там тоже были ссыльные, посадили картошку. Картошка не взошла, и весной мы ходили ее собирать. Бабушка отравилась, ее отвезли на катере в Дудинку, поместили в больницу. Потом велели нам косить траву, а она только в излучинах у реки, ноги все время мокрые. Я заболела, меня тоже увезли. Мама осталась одна. Однажды ночью она решила навестить нас в больнице, а река там шириной четыре километра. Пришла, побыла, а назавтра надо быть на работе. Когда вечером возвращалась через реку, поднялась вьюга. Они были вдвоем с госпожой Страздинь, заблудились, в совхоз не пришли. Опустились без сил в снег. Но спас случай – эвенки на оленях проезжали мимо и буквально на них наткнулись. Привезли в совхоз. Мама обморозилась, привезли ее в больницу, помазали, но оставлять не стали. После этого мама пошла в комендатуру, ей разрешили остаться в Дудинке, но работу она должна была найти сама, и жилье тоже.

Здесь уже жизнь стала походить на человеческую, можно было и заработать что-то, начали кое-что выдавать по карточкам, появился сахар, детям давали сухое молоко.

Мама все время опекала и детей брата. И когда совсем становилось невмоготу, помещала их в детский дом, но когда уезжали, мама снова их забирала, чтобы не затерялись на этих громадных просторах, она все время надеялась, что брат вернется. Дочку сестры Райту – ей был годик, когда выслали, – тоже забрала, бабушка ее нянчила. Двоюродный брат был на пару лет младше меня. В детском доме его обучили столярному делу, жил он в детском доме, приходил к нам, но он хотя бы не голодал.

И тут случилось чудо – в комендатуре сказали, что дети, которые лишились родителей, смогут уехать в Латвию. Мама поинтересовалась и мной. Ей сказали, что если есть, кому позаботиться, тоже может уехать. Приехала к нам в Дудинку такая Устабе – не знаю, кто она была, но мама поручила ей детей брата. Я осталась одна, но мама списалась со старыми друзьями из Ауце, и они выразили готовность помочь мне в любую минуту. Так я вернулась в Латвию. За мной пришел Озолиньш, друг родителей, замечательный человек! Они и сами жили не блестяще, у них было двое детей, еще и меня взяли. Я пошла в школу в Ауце. Конечно, была я уже переросток для 6-го класса, но летом прошла программу 7-го класса, после 8-го тоже занималась летом. Нагоняла. А там 1949 год, снова высылают. Директор школы сказал: «Домой не ходи! Твою семью высылают», я тоже была в списках. Пришла домой, рассказала, но мне не поверили, мы, мол, люди простые, за что нас высылать. А меня все-таки отправили в Елгаву, где жила их дочь. Я собрала все, что у меня было, и уехала. Потом мне рассказывали, что буквально через несколько часов за ними пришли и увезли.

В Цесисе у меня жила тетя, папина сестра. Сын ее во время войны был в немецкой армии, потом убежал в Америку. Она была одна, и меня приняла. В Цесисе я окончила 10-й класс, между прочим, на «отлично». Тетя видела, что я хочу учиться, поддерживала меня, на сколько хватало у нее сил. И тут мне написала мама, что она вышла замуж, что вначале меня поразило, я даже отвечать не хотела, а тетя мне говорит: «Ты что же, хочешь, чтобы мама там погибла?». К счастью, мама связала свою судьбу с очень хорошим человеком. Отчим сказал, если я хочу учиться – у них условия улучшились, каждый месяц они присылали мне 200 рублей. И я поступила в Университет на химический факультет.

Я училась, все было нормально, были деньги, была стипендия. И вот в 1952 году, я была уже на 3-м курсе, вызывает меня декан. Я, наивная, захожу,

там сидят двое в штатском, декан говорит: «Вот наша студентка». Она тоже была в недоумении. В общем, арестовали меня.

13 октября 1952 года – хоть этот день и «чертова дюжина», я считаю его счастливым, потому что сейчас я здесь. Составили документ, в котором было сказано: «В целях воссоединения семьи». Разрешили сходить домой за вещами. И с чемоданчиком переправили меня в Центральную тюрьму. В пересыльных камерах я была не одна, вместе с такими же молодыми людьми, вернувшимися в свое время таким же образом, что и я. Пробыла там недели две. Я, к сожалению, не помню ни имен их, ни фамилий. Укомплектовали нас, и началось наше страшное путешествие. Привезли в Киров, в Вятку. Я знала, что там был отец, что он умер. Когда я окончательно вернулась, у меня на руках уже были документы, что он погиб там в 1942 году. Ощущение я испытала ужасное, думала, возможно, нахожусь в той же тюрьме и в той же камере, где сидел и он. В камере было столько людей, что нечем было дышать. Встала у двери, стою. Тут слышу, спрашивают: «Откуда, откуда?». Говорю: «Из Риги». Неожиданно обратилась ко мне женщина на латышском языке: «Идите ко мне!». Я обрадовалась, если вообще в тюрьме можно радоваться, - по крайней мере, есть человек постарше. Но это продолжалось недолго. Снова комплектовали вагоны, отправляли дальше. Была я в тюрьмах Омска, Томска, везде по неделе, по две, узнала, что такое настоящий тюремный режим, когда выпускают на прогулку, а вокруг каменные стены и только клочок неба над головой. Оказалась в Красноярском крае, работала в лесу. Оттуда удалось связаться с мамой. От тети она уже знала, что меня сослали, что мотивировка была «воссоединение семей», но здесь это никого не интересовало. И я продолжала трудиться на лесоповале. Жуткая работа... Мама пошла в комендатуру, спросила, если такая мотивировка, почему меня не переводят к ним? На что ответили, что это не их дело, это не их мотивировка, единственное, что мама может сделать, - собрать деньги на дорогу, они выделят охрану и меня привезут. Отчим собрал 2000 рублей, конвойный проводил меня в Красноярск до самолета, охраны в самолете не было. В Дудинке меня снова под конвоем отвели к маме на квартиру. Потом долго расплачивались с долгами. Так я и осталась там. За это время у меня появился сводный брат, разница между нами была 20 лет. Отчим устроил меня на работу в порт. Работа не из приятных, там работали заклю-

ченные. Приходилось трудиться и в ночную смену, но были там бригады из политических, они меня охраняли. Ночью всякое могло случиться. Через какое-то время перевели меня в зону, на лесосеку. Еще до этого я познакомилась со своим будущим мужем, он недавно освободился из лагеря, эстонец. Приходил меня охранять. Потом мы пошли к большому начальнику в Управление порта, попросили, чтобы меня оттуда перевели. Человек он был солидный, и меня перевели на старое место работы.

Стала думать, что долго так не выдержу, решила освоить специальность экономиста. И тут наступил 1956 год, наконец-то! Кто плакал, кто смеялся, люди не понимали, что им делать. Мы с мужем решили, что раз бедны, как церковные крысы, надо еще полгода поработать. Заключили договор, отработали и вернулись в Латвию.

С учебой так ничего и не получилось. Из Дудинки писала в Красноярск, хотела поступить в лесоустроительный институт. Попросили прислать документы. Из Латвии написали, что из университета меня исключили за непосещение лекций. И в Красноярске восстановиться не смогла. И тогда отчим сказал: «Не сдавайся, пиши снова!». Напи-

сала и получила такую отписку: «За непосещение лекций ввиду ареста». Поехала в Норильск, хотела поступить в горный техникум, но и там отказали. А когда приехала в Ригу, объяснили, что прошло с тех пор три года, и все надо начинать сначала. Но сил на это уже не было, были дети, здесь, в Цесисе, родились два мальчика. Тут и живем. Сейчас и у них уже есть дети.

Еще о вашем отце. Когда вы узнали о его судьбе? Думали ли вы о нем? Не знаю. Знаю только, что отец был самым близким для меня человеком. Он меня так любил, и мне его так не хватало. В тех условиях мы думали и надеялись... Никто ведь не знал, что случилось, думали, что, может быть, мужчины в тюрьме, что они еще выживут. Мы тогда и сами жили ужасно. Этот голод, рядом все время умирали люди, остальное как-то скользило мимо сознания. Когда вернулась, начала понимать, что его больше не будет.

В документах, которые прислали, есть бумага о реабилитации отца – был в заключении в Молотовской области, в Соликамске, в Вятлаге. Сохранился и паспорт отца, свидетельство о его смерти. Все это мама сохранила...



Визма с матерью Мирдзой



Визма в Латвии



ИВАРС РОСС

родился в 1936 году

В 1941 году мне было пять лет и сколько-то месяцев. Вся наша семья с 1860 года жила в Лайдской волости. В 1940 году все было национализировано, отца оставили управляющим пивоварней.

14 июня мне запомнилось. Отец был в Риге, уехал по делам. В час или в два во двор въехала грузовая машина. Вышли сосед, офицер и солдаты в шлемах. Мама пыталась дозвониться до отца, но не смогла. Я спросил у бабушки, где папино воздушное ружье.

Погрузили нас в машину. С нами поехала и бабушка, она взяла пятимесячную Дайну на руки. Привезли всех на станцию – маму, старшую сестру, меня, брата Гунарса, четырех лет, и Дайну. В вагоны и – поехали. Отца арестовали дома через пару дней. В 1942-м или в 1943 году он умер в Вятлаге. В пути ничего особенного не было, умерли какие-то женщины, одну везли три дня, пока не вынесли. Ехали тихо, никаких разговоров не вели. Один раз вывели всех мыться, приносили хлеб, кто приносил, не помню.

На станции Заозерная взяли нас последними и привезли в село Орловка. Поселили в доме председателя колхоза. Старик «положил глаз» на маму. Это тянуло на 25 лет — высшую меру наказания. Жили там два или три месяца, потом в дощатом домике. Зима в том году была лютая.

Летом мама где-то работала. Потом пилила и колола чурочки. В 1942 году ее вызвали, после

этого они о чем-то долго шептались с бабушкой. Мама сказала: «Я должна уехать на время, ты помогай бабушке!» Председатель написал донос, дали ей 25 лет. Нас с бабушкой выселили на окраину села. Все это я описал в книге «Один день».

Весна 1943 года. Голод тотальный, ничего еще не выросло. Чувствую – не могу встать, спать хочется, а было мне тогда семь лет. Бабушка поднимает меня, брат с сестрой спали рядом в кровати. И тут я вспомнил – соседский мальчик показал, где находится ферма, туда должны привези кормовые брикеты. Пошел туда, и все время приходилось садиться, отдыхать. Навстречу шла русская женщина, сунула мне в рот крошку хлеба, и я пришел в себя. Оторвала мне половину краюшки. Принес я эту половинку домой, бабушка разделила на всех, кроме меня.

Сказала: «Ты весь дом обчистил, уходи!». Видно, в уме повредилась. Прожил в тайге до осени. Пришел, руки потрескались, бабушка велела чемто помазать. Следующим летом поумнел. Весной собирали колоски и картошку. В 1946 году, весной, исходили десятки километров. Ели лебеду, корешки лилий, дикий лук. С 1942-го до 1946 года хлеба не видели.

Первые письма стали приходить в 1945 году. Были мы там единственные латыши. Мама умерла в 1961 году – вернулась в 57-м или в 58-м году, когда я отбывал службу. Когда я пришел в 1959 году, мама меня не узнала. Там, где мама жила, не было электричества. Взял отпуск, приехал, чтобы подключить их, не успели и слова сказать – мама умерла. Бабушка вернулась позже. Старшая сестра умерла в Сибири, у нее была семья. Старшая сестра жила у русской женщины. Летом мы каждый день при-

носили домой дрова, русские начали их воровать. Была у нас земля, 20х30 метров. Перед домом сажали картошку. Мама продала зимнее пальто и купила корову, которая нас и спасла. Из лесу приносил все, что

О Сибири не думаю.
Единственное
Рождество у меня
было в 1939 году в
Аайдской школе.
Жизнь прожита,
все позади

можно было есть. Зимой картошку держали под кроватью. На ноги надеть нечего было, зимой 45/46 года на улицу выйти не могли. В 46-м дали бумажные туфли, они тут же раскисли. Летом сказали, что надо ехать домой. Все трое пошли в Заозерную, я вернулся попрощаться с бабушкой. Привезли нас в Красноярск, в детский дом. Укомплектовали три вагона. В вагоне раз в день давали распаренное зерно. Добрались до Риги, жили в детском доме. Младшей сестре было пять лет. Брата и сестру приняли Гревиньши, тетя Алма, папина сестра. Жили до 1949 года в «Дзервес», потом снова в Риге, в Милгрависе.

В 1949 году снова выслали. Матерсы из Лайдес тоже были высланы. Меня все время обзывали русским. Умел драться, выходил победителем. Учился нормально. Дома отношения были ужасные. Мы с сестрой не сошлись характерами, не складывались у нас отношения. Она меня так по уху ударила, что и сейчас еще плохо слышу.

В 1951 году ушел из дома в мореходное училище, со 2-го курса выкинули. В 1952 году устро-

ился на завод, а в 1955 году призвали в армию. Переписывался с братом. Хотел вступить в колхоз, не приняли. В 1977-м или в 1978 году снова котел вступить, чтобы сохранить пивоварню, снова мне отказали. Учился всю жизнь, две мореходки окончил, институт. В должностях не утверждали, ходил на рыболовецких судах. В 1982–1984 годах не выдали повторную визу. Пошел работать в колхоз «9 Мая». Десять лет был капитаном плавучего дока – до 1991 года. Надо было получать новое судно – ты, говорят, слишком стар.

Детства у меня не было. Отвечал за них. Я строг – меня в этом упрекали. Близких никого нет, с тех пор как брат умер.

Одно утешает – похоронят меня в земле, а не в море. Русские люди поддаются внешнему давлению. Это бессилие России, несчастные люди.

О Сибири не думаю. Единственное Рождество у меня было в 1939 году в Лайдской школе. Жизнь прожита, все позади. Не допущу ситуации, когда не смогу больше с собой справляться. Сжег все архивы.



Слева: Гунарс, Марта, Лилианна, Иварс. Латвия, 1939 год



Отец Карлис, мать Марта, дети (слева): Лилианна, Гунарс, Иварс. Латвия, 1940 год

АЙНА РУБЕНЕ (БЛУЗМАНЕ)

родилась в 1925 году



В 1941 году мне не было еще и 16-ти. И мама, и папа побывали в России, во время Первой мировой войны работали во Владивостоке в консульстве, когда они возвращались домой, их на любой станции могли арестовать. Они знали, что такое коммунизм, что такое Россия.

В 1940 году, когда вошли русские, помню, папа сказал – уедем, настанет день, когда латышей вывезут, тысячи вывезут, разбросают по всей Сибири, и все будет шито-крыто. Настал последний момент. Папа еще сказал: переправимся на лодке в Швецию. Мама ответила: как уехать, если у меня здесь родители, здесь наша Родина, здесь все. И мы остались.

13 июня вечером мы с подружкой вышли погулять, повсюду стояли грузовики. Жили мы в Вентспилсе. С нами был и один еврейский мальчик, сказал, что завтра утром с родителями уезжает в Ленинград.

И вот ночью, в половине четвертого утра раздался стук. Вошел папа и сказал, что его увозят, что уезжаем мы все. С ним был и директор нашей гимназии Гулбис, пришел вывозить. Я стояла у своего письменного стола и вдруг подумала: «А что здесь будет через 20 лет, когда я вернусь?». Откуда вдруг такая мысль? Нас отвезли к эшелону, привезли многих, а машины с людьми все подъезжали и подъезжали. Там знакомые, там. Мужчин построили и увели. Больше я папу не видела. Из квартиры нам подвезли

какую-то одежду, шубку. Помню, ехали через Елгаву, можно было выйти. И можно было убежать. Но как убежать от мамы, от сестры? Семья раньше была на первом месте. И я вернулась. В вагоне было ужасно. С собой были продукты из Латвии. Когда кончились, стали давать кир-

пичики хлеба, кислого, даже горького, такой он был соленый, есть невозможно было. Когда переехали границу, война еще не началась. Вдоль вагонов ходили странно одетые люди, в мешках. Они дрались из-за выбрасываемого нами заплесневевшего хлеба. Так и стоит эта картина перед глазами.

На станциях был кипяток.

Высадили в Красноярске, грязь по колено, тащились в гору, где стоял какой-то сарай. Там двое или трое человек умерли. Стали приезжать из колхозов на лошадях. Как на аукцион – кто кого заберет. Нам повезло, что мы оказались вместе с вентспилсчанами. В Березовке высадили на большой площади и стали собираться люди – смотреть на нас как на чудо. Были такие, кто смотрел сочувственно, раздавались и возгласы «фашисты приехали». Поселили нас к офицерской мадам, настоящая ведьма, злилась, говорила, что нас уничтожить надо. Из дому у нас было с собой соленое масло, мама взяла кусок, пошла с ней поговорить. Рассказала ей все, как есть, сидели обе и плакали. Воцарился мир. Одна бабушка, православная, приветила нас. Стали ходить на работу в колхоз, куда пошлют, туда и шли. Хлеб давали. Зимой заболела тифом, думала, не поднимусь. Мама и сестра тоже заболели. Приходили женщины, приносили лекарства. Слава Богу, поправились.

Первый год жили вместе с мамой. Мама с сестрой остались в колхозе. В том же году получили весточку от папы, тоже благодаря евреям из

Вентспилса, через них сообщили папе, где мы. Стали забирать сестру, мама пошла к чекистам: мне терять нечего, мужа отобрали, расстреляйте на месте. Тогда разрешили ехать вместе.

Начался лов на озере. Две зимы спали в обычных палатках, посередине чугунная печка. Утром не встать — волосы примерзли.

В 1941 году семьи просто уничтожали.

В 1942 году сообщили, что молодежь отправляют на Север, ловить рыбу. Посадили в Красноярске на баржи. Погода хорошая, все мы молоды, все вместе, происходящее не воспринимали трагично. С нами ехал и доктор Скалдерс, наша опора. Мне тогда впервые сделали предложение, доктор Скалдерс попросил моей руки. Мне было 17 лет. Высадили нас в Старой Игарке. Это было хорошее время. Рыба на Енисее вкусная. Осетр с черной икрой. Мы там были сыты. Енисей покрылся льдом, остались мы ни с чем. Умер Иварс, еще одна женщина. Стали таскать на берег Енисея бревна, выстроили избушки. Стали жить в новом доме, но выдержать было невозможно дома не отапливались, мороз 50 градусов. Вернулись в барак. Весной собрали людей, сказали – надо ехать ловить рыбу на озера. Дали лодки, привязали мы к ним веревки и потащили по тундре.

Начался лов на озере. Две зимы спали в обычных палатках, посередине чугунная печка. Утром не встать – волосы примерзли. Ловили и зимой и летом. Летом приезжали – рыбу потрошить, солить в бочках. Ловили для фронта. Зимой возили на оленях. И настал момент, когда я сказала – не хочу больше жить.

Дело было к вечеру, надо было нести рыбу на приемный пункт. Внизу толстый лед, потом слой воды, сверху снова лед, но уже тонкий. Идешь и проваливаешься, мокрый насквозь Домой приходишь – портянки смерзлись, пальцы обморожены. Полгода мучилась. Таскала по 30 килограммов. Перешла через озеро, и не могу больше – как ступишь, так по колено проваливаешься. Перешла через озеро, села, и это была последняя точка, охватила меня такая апатия, ничего не хочу. Но, видно, инстинкт спас. Подумала – неужто не выдержу, встала и пошла дальше. Вошла, там латыши жили, упала на пол, что было дальше, не помню. Напоили горячим чаем, уложили в постель. Наутро встала – как не было ничего. Там не болеешь. Ни насморка, ни кашля, минус 50-55 градусов – там температура обычная.

Летом мучила мошка, до крови мясо выедала. На лицо сетку набрасывали. А к вечеру комары одолевали. Так и жили. Как-то зимой рыба совсем не ловилась. Давали немного муки, соли, немного сахара, это если ловилась. А не ловилась, то как было, так и было.

В 1945 году сказали, что столько-то и столько людей могут отправляться в Игарку. Счастье, что нас вел тунгус. Он по кочкам прыгал как заяц, а

мы шли спотыкаясь и падая. Вывел он нас прямо на колхозные дома, без карты, без компаса, глянет только на солнце, глянет на деревья. Лето отрыбачили. Зимой, думала, больше не выдержу. Пробивать проруби надо было, руки обморожены, ноги обморожены. Летом с лодки большие сети закидывали. Стала думать, что в школу идти надо, по-русски только разговаривать могла.

Там как – вечером река замерзнет, утром уже по льду идти можно. Лед под ногами качается, но это ничего. Стала ходить в школу. Взрослая была, языка не знала, рассказать еще могла, а сочинение написать – куда там.

Стала искать работу. Пошла на завод, где делали гвозди, там немного пришла в себя. Хороший начальник был, немец. Там и самодеятельность была. Работала в Новой Игарке, жила в Старой. Иду однажды, а там все на сваях, слышу, кто-то догоняет, молодой офицер, идем, разговариваем, а с нами говорить нельзя было, ссыльные, преступники.

Тут приходит известие, что детей отправляют в Латвию, а куда мне, мне уже 20 лет, я и надеяться не могла. Вдруг узнаю, что и я в списках. Это доктор Скалдерс включил меня. Поблагодарить его должна, 10 лет жизни мне спас. И мы поехали домой, поехали в Латвию. Приехали, пошли в Министерство образования, а нас оттуда чуть не выгнали. «Что вам здесь надо? Зачем приехали?». Нужны документы, езжайте туда, откуда вас выслали. Больше нигде и никому до тебя дела нет.

Мама сходила на квартиру, там жили чужие люди. Мама пришла посмотреть. Пришла в свою гимназию, там были мои старые учителя, выдали мне справку, спасибо им. Пару раз вызывали в чека, из-за мамы, ее разыскивали. Мама спаслась, просто исчезла на время.

Замуж вышла тоже за неправильного человека, за легионера. Учиться не могли. Времена были ужасные, еще и сегодня этого не понять. За что? Почему? За то, что любили свою Родину? За то, что жили честно? У всех были семьи, все честно работали. Сейчас подпись требуют, все заверить надо. А в латвийское время достаточно было честного слова, сказал – как отрубил. Честный был народ.

Я эту жизнь так и не смогла принять. Для меня эталоном была жизнь в латвийское время. Жить, конечно, надо было, приспособилась, но никогда не забывала жизнь прошлую. Папа был очень семейным человеком. Летом вместе с мамой и сестрой всегда ходили гулять к морю.

Муж мне достался понимающий, наш человек. У нас двое детей, четыре внука.

Бывают моменты, когда вспоминается доброта отцовская, его трудолюбие. Как он о семье заботился! Человек любил жизнь.

Хотелось бы, чтобы внуки были похожи на отца. Но так ли будет? Сомневаюсь, они уже не такие, не скажу, что плохие, хорошие, порядочные, но пойдут ли они по стопам деда – сомневаюсь.

Не скажу, что недостает чувства патриотизма. Молодежь нынче другая. Что-то Латвии не хватает в этом отношении. В те времена было иначе. Мы с сестрой обе были в отряде мазпулков, участвовали во всех мероприятиях. В нас воспитывали любовь к Родине, убеждение, что нигде не может быть лучше. Сейчас с мальчиками совсем не так. Я счастлива, что они хорошие мальчики, что избрали свой путь.

Жаль... этот перелом в 1941 году, все мечты были порушены, все будущее раздавлено. Как отрезали, а за что? И сегодня нет на это ответа.

В общем я, конечно, на свою жизнь пожаловаться не могу, всегда рядом были коллеги, муж поддерживал. Я еще держусь. Но воспоминания, они мешают, вызывают боль. Иногда кажется, что все это происходило не со мной. Все это вижу и сейчас, словно лента проплывает перед глазами. Все это вынести, выжить... сколько там осталось. Моя подруга вышла замуж за немца, домой вернулась только в 1956 году. Я же думала все время – как вернуться обратно. Сейчас жить стало свободнее, а тогда делала свое дело, никуда не лезла. Вероятно, хорошо, что так жизнь обернулась. Говорят, кого Бог любит, того наказывает. Но за что – никто ведь не сделал ничего плохого – ни мать, ни отец.

Мамин дядя жил во Владивостоке, в 1937 году исчез. Только тот, кто все это испытал, в силах понять. Рассказываю кое-кому, не верят, не хотят верить, что такое могло быть. Внук однажды спросил: «Бабушка, ну как могли прийти и забрать тебя?». Не понимают.



Семья Рубенисов. Латвия, Межарес, 1930 год



ВАЛДА РУБЕНЕ (ЛАПУКЕ)

родилась в 1930 году

Мама написала что ее «место жительства» – город Рига. Ей выдали документ, что она может ехать через Красноярскую комендатуру. И строчку эту крыса изгрызла; а крысой той была сама мама. В Риге строчку эту прочесть было нельзя.

Я ехала с последним детским вагоном с Дальнего Востока. А вот письмо: «Виви, милый мой дружок, сегодня, 20 ноября, готовимся к отъезду, переводят в другое место. Отправимся завтра. От всего сердца желаю, чтобы Бог дал свидеться, поговорить с глазу на глаз. Этот всепожирающий огонь, это такая боль, но иногда от него остается только пепел.

Твоя жизнь, мой Воробышек, только начинается. То, что ты пережила, будет для тебя краеугольным камнем на твоем жизненном пути. Мне больно, но это неотвратимо. Мой новый адрес такой же, только вместо «с 2» надо писать «LK 2314». Там для нас оборудовали больницу. Если бы еще и картошечки туда подвезли, было бы неплохо.

Несколько дней назад получил письма от Анны, с Крайнего Севера и от папы. Привет от них. Обнимаю и целую тебя и мамочку. Отец».

Учитель Цирулис описал, как все там было, как все случилось, как ходил просить начальство, чтобы разрешили отлежаться во время инсульта: «"Приказываю всех одеть и отправить!". Возражения врачей во внимание не принимались. И тогда я решил воспользоваться моментом, попро-

сил меня выслушать. Больной дороги не выдержит, приказ этот означает верную смерть. Начальница 2-го отделения принялась орать, как ужаленная, – она не позволит нарушать распоряжение начальства. Это неслыханное нахальство, чтобы заключенный осмелился

критиковать распоряжения начальства. Она позаботится, чтобы мне второй срок дали. "Я отвечаю за эвакуированных, вон из комнаты, нахал!" Пошел к отцу и сказал: "Я проиграл, поезжай". Больной сам оделся, сел рядом с врачом. Только поезд тронулся, он обмяк. Врач констатировал удар. 26 ноября в бессознательном состоянии его отвезли в лагерь № 4. Врач, предвидя такой исход, распорядилась насчет гроба. Более подробных сведений о его последних часах жизни у меня нет. Не стану лгать, но он остался бы жив, его погубили намеренно. Моя совесть чиста. Успокоить мне вас нечем. Господи, прости им, не ведают, что творят, но они знали, что творили. Ваш Цирулис».

Тогда я этого не понимала, мне было 11 лет, я привыкла, что отца нет. Когда я читаю его письма, понимаю, как они воспитывали. Я понимаю, сколько потеряла, потому что не было отца. Во всех отношениях.

Мама была очень практичным человеком, заботливым, она вынуждена была такой быть. Она многому меня научила. Хотя вместе мы бывали мало. Когда приехала из России, она была в бегах, я была одна, как умела, так и жила. Эталон семьи? Я его не достигла с человеком, за которого вышла замуж.

14 июня утром в квартиру позвонили. Мама вбежала к нам в комнату, бросилась на колени между нашими кроватями, стала молиться. Папу уводят! Я вбежала в большую комнату, где было полно

военных, бросилась к отцу, устроилась у него на коленях: «Воробышек, не волнуйся, мы поедем все вместе». Приказали собрать вещи. Отец обнял нас с сестрой и сказал: «Дорогие девочки, с этого момента

Я не могла
забраться, подошел
конвоир, штыком
под зад как ткнет.
У меня еще и сейчас
шрам виден. А тогда
и кровь потекла.

вы стали взрослыми». Увезли на станцию на легковой машине. Мы в вагоне были вторые.

В Тукумсе детей выпустили, я отыскала мужской вагон, увидела папу. У него все отобрали, брюки сваливались. Мы могли уйти, но такая мысль даже не мелькнула. Выпускали на каком-то лугу возле леса. Выносили мертвецов, покрытых простыней. Я рвала белые цветы. В памяти остался этот ужасный крик: «Давай, по вагонам!» Я не могла забраться, подошел конвоир, штыком под зад как ткнет. У меня еще и сейчас шрам виден. А тогда и кровь потекла.

Приехали в Красноярск. В дороге давали суп и кипяток. В Басхатово приехали 7 июля. Повезли дальше на лошадях. Я увидела песчаную гору. Колхозники сваливали в реку навоз. В центре была церковь, привезли и начали нас разбирать, как товар на невольничьем рынке. Смотрели на нас мрачно, с недоверием.

Жили в доме у женщины с двумя детьми, муж ее был на войне. Она нас пустила в горницу. У мамы с собой было масло, она ее угостила. Но хозяйка не ела и детям не разрешила. Мама русский язык знала, стала с ней разговаривать, и тогда та поняла, что никакие мы не фашисты.

Мы носились по селу, в лесу собирали ягоды, вилкой ловили в реке рыбу. Было интересно. Кто-то нашел на навозной куче шампиньоны. Ели овощи, научились есть крапиву, лебеду, полезные и вкусные. Мама умела шить, кое-что шила. Я рисовала игральные карты, за них получала то картошку, то кислую капусту, а то и яичко. Мама ездила в Красноярск продавать вещи. У одной латышки была чернобурка, она обменяла ее на овес. Меняли, чтобы достать немного жира или мяса. Жили, надеясь, это вселяло силы, помогало все выдержать. А потом начались болезни. У мамы был брюшной тиф, никого не узнавала. Заботились друг о друге, вокруг были хорошие люди.

А потом всех разлучили, Иварса и сестру отправили на Север, еще какие-то партии послали на Дальний Восток, кто-то остался в колхозе. Нас с мамой вместе с уголовниками увезли на Дальний Восток. Нас тоже сопровождал чекист. Дорога была трудная. В Чите были построены большие бани, там одни сплошные зоны.

Все заключенные целыми этапами проходили санобработку, и мы с мамой тоже. Одежда вся была порвана. Привезли во Владивосток, там затолкали в пароход на нары, набили до отказа, повезли на



Валда с мамой, папой и сестрой. Латвия

Север и на Камчатку. Была там доктор Розе. Меня назначили истопником. Дрова и уголь надо было воровать на набережной. Меня арестовал один с винтовкой. И капитан с парохода пришел меня спасать. В ноябре началось наше путешествие в свою гавань, ехали как «вольнонаемные». Мама сказала, что разбирается в бухгалтерии. И нас отвезли в другое место. Жили в палатке, был там один мужчина, работал по ночам, днем спал, вот мы и менялись койками. В школу отвозили машиной. В своей жизни сменила три школы, и русские были, и латышские школы.

В 1945 году началась война с Японией. Узнали, что сбросили атомную бомбу. Привезли полный пароход с военнопленными японцами, с японскими вещами. Мама меня предупредила: «Не смей ходить. Это награбленные вещи, как и наши». Ну, я не пошла. В 1945 году уже освобождали легионеров. Маму попросили быть переводчиком. Молодые ребята, лет 20-ти, первое, что они спросили – где мы? Не знали они, где находятся. Так мне было жаль этих парней, страшно плакала. Так сердце болело.

В нашем бараке жила медсестра, русская. Меня в России звали Валей.

В госпитале латышские ребята приходили поговорить, называли меня Брусничкой. Один из них смастерил мне ящичек. Кончилась война и закончилось строительство. Уголовники и все остальные строили вместе. А потом мы вернулись в Латвию.



ТЕОДОРС РУБЕНИС

родился в 1938 году

Я родился в Ликсненской волости, в «Ваболе», сейчас это Даугавпилсский район. Отец был управляющим Ликсненской школы. Школа была шестилетняя. Мама работала учительницей. В семье было трое детей. В 1940 году отца с работы уволили. Был один провокатор, который сдал отца, сдал всю нашу семью. Имя его я называть не хочу, потомки его ни в чем не виноваты. Нечего, как говорится, наводить тень на плетень. Он тоже был учителем. Все праздники проводили вместе, пиво пили, все вместе. Считался самым лучшим другом. Не один он был, трое. Сейчас я достал материалы дела, все фамилии известны, да что там, не будешь же платить злом за зло. А главный уже умер, это я знаю наверняка.

Отец это тяжело переживал. Так как у отца была земля и несколько голов скота, в документах он фигурирует как «учитель-кулак». Благодаря друзьям нас 14 июня вывезли. Происходило все ранним утром. Мама говорила, что в половине пятого утра. Я, конечно, не помню. Помню только страшный шум – всех подняли с постели. Отца тут же вывели в другую комнату. Помню, что у него все время требовали пистолет. В какой связи, не знаю. У отца никакого оружия не было, он не был даже охотником. Тут же посадили в машину. Я принялся орать, что и сам до сих пор помню. Мама потом мне не раз говорила, что и выжили мы благодаря моему крику. Пока я кричал, те, кто вывозил, – а среди них были и латыши, как всегда впереди паровоза, – немного поостыли. Мама

была женщина сообразительная. Мы только потому и выжили. И она со старшим братом стала кидать в мешки одежду. К счастью. И пока сестра меня успокаивала, они собрали пару мешков. Что там было – блузочки, кофточки, детские вещи. Мне почему-то запомнилось, как

один сказал по-латышски – возьмите теплую одежду. Значит, они знали, куда лежит наш путь. Как там поется... «нам в другую сторону...».

О чем я хотел бы напомнить. Есть такой знаменитый Фартбух. Европейский суд присудил правительству Латвии выплатить ему за тяжелые условия пребывания в тюрьме. Фартбух работал тогда в Даугавпилсском уезде. У меня есть документы из архивов Комитета безопасности, копии, не сами документы. Именно Фартбух оформлял высылку нашей семьи в тот санаторий. И не отправлял нас в «Артек», на Черное море, отправлял прямиком туда, где мы были обречены на смерть. Не знаю, должно ли платить Латвийское правительство этому негодяю. По другому я его назвать не могу – не господин, не друг, не товарищ, а негодяй. Нужно ли платить ему компенсацию?

Посадили нас в машину, не дали даже проститься с отцом. Посадили впереди, между нами конвой с винтовками – чекисты или кто там они были. Отца посадили в кузове сзади. И его первого высадили. А мы поехали. И стали мы кричать – папа, папа! Эти повернулись – нечего кричать, через два дня увидитесь. Фактически мы его видели в последний раз. Затолкали нас в красный телячий вагон. Люди сидели друг на друге, не знаю, сколько там было народу. Двое суток стояли на станции в Ницгале. А потом потихоньку стали двигаться на восток. Я сидел на верхних нарах, смотрел в окошко. Мимо прошел поезд, и в одном из окон примерно в такой

же позе мелькнуло лицо отца. Я, конечно, принялся кричать, но он меня не слышал, не видел. Продолжалось все несколько секунд, меньше минуты. И мы поехали дальше. В вагоне было жарко, тесно. Давали в ведрах

Мне почему-то запомнилось, как один сказал по-латышски – возьмите теплую одежду. Значит, они знали, куда лежит наш путь.

какую-то кашу, ведро воды на всех. Туалет был не каким-то WC, просто дыра. Однажды мама дежурила, ходила за кашей и за водой. Когда вернулась, сказала, что началась война. Повсюду на станциях были громкоговорители, так она и узнала.

Привезли на конечный пункт, высадили, согнали в огромный барак. Сколько там были, не скажу. Может быть, сестра лучше помнит, она была старше. А потом стали нами торговать – приехали из окрестных колхозов на повозках, стали разбирать. Так как брату было почти 15 лет, он был таким спортивным... Ему из нас не повезло больше всех. Как раз накануне он вернулся от дедушки из Илуксте, из-за Даугавы, где у деда был дом. Там он ходил в гимназию. Сдал экзамены, сел на велосипед и приехал – прямо волку в пасть. Если бы не приехал, неизвестно, как бы жизнь повернулась, конечно. Но в тот момент его, возможно бы, не взяли. И вот отвезли нас в колхоз. Колхоз «Имени Ворошилова», в село с очень прозаическим названием – Телячье. Его уже нет, там проходит БАМ. Честно скажу, никаких эмоций по этому поводу у меня нет. Нет и нет, ну и пусть нет. Брат сразу же пошел в столярку. Да какой из него рабочий – 15-летний мальчишка. Но что-то он, видно, кумекал. Маму тоже отправили куда-то, не помню только, куда.

Первая осень и первая зима были ужасные. Вечером, когда хотелось есть, всегда отпрашивался спать. За все годы, проведенные в России... я и до сих пор не всегда сыт, так ел бы и ел. Честное слово. Оттого-то у меня и живот чуть больше, чем надо. Первая зима была очень тяжелая. Но все-таки было, что менять, – благодаря моему крику, когда вывозили. Женщины в селе ни платьев таких, ни блузочек, ни нижнего белья в глаза не видели. Но если честно, у них и у самих ничего не было, иногда дадут яичко, литр молока, корзинку картошки – что-то доставали. Первая крапива, лебеда. Мама варила суп. Мама вообще была очень хозяйственная.

Я говорил, что только благодаря маминой сообразительности, находчивости мы выжили. Весной появлялись почки — на соснах, елях. Сдирали, говорили — конфеты. Летом, когда созревали ягоды, становилось легче. Если честно, природа там суперкрасивая. Но и безжалостная. Не припомню, сколько раз в первую зиму отморозил нос, уши и руки. Потому нос у меня красный. Как приду на Центральный рынок, ко мне сразу — «спиртик, водка», думают, свой пришел. А это у меня наследство из «санатория Фартбуха». Летом сразу посадили

огород. Лошадей не было, копали 10–12 женщин, впрягались в плуг. Посадили картошку. Сажали не картошку, а очистки. Но выросла, ничего не скажешь, выросла.

Летом пошли грибы, много грибов. Брат гдето добыл две 200-литровые бочки. Я должен был набрать грибов, засолили на зиму. Второе мое задание – было мне пять лет – идти в тайгу, собирать сушняк. Собрать, распилить, сложить. Не то, что русские, – дрова кончатся, едут в тайгу, свалят сосну, и сырыми дровами топят. Это было мое летнее задание. Складывал, пока рост позволял, остальное брат. Два конкретных задания. А когда осенью выкопаем картошку... Грибы ели каждый день. И как ни странно, до сих пор люблю грибы, не надоели. Тогда уж было полегче.

Сестра пошла в местную школу, в Телячьем. Кажется, в 4-й класс. Потом надо было ходить за шесть километров – в Южноалександровку, там был 7-й класс. Это село было больше, там и церковь стояла. В ней устроили зерносклад, это было что-то другое, но церковь была. В Телячьем ничего не было, окраинное село. В школу директором пришел бывший фронтовик, герой Советского Союза. Сестра поговорила с классной учительницей, сказала, что и наша мама учительница, хорошо знает русский язык. И та пошла к директору, поговорила. Директор ей сказал: «Вообще-то таких брать не положено, но я фронтовик, инвалид, Герой Союза, мне не пришьют». Както в субботу смотрю – сестра идет из школы, а с ней какая-то тетенька. Оказалось, это Ванда, классная руководительница сестры. Мама, конечно с радостью согласилась. Все-таки в школе. Кто же не согласиться, если можно работать учительницей!

А что мама делала в Телячьем?

Все время в полевой бригаде работала, на складе. Некоторое время в детском саду, но очень недолго. В основном физическую работу выполняла. Домой приходила усталая. Но ко мне относилась очень хорошо. Так меня и звала – золотой мой ангелок. Медовых коврижек дать мне не могла, но всегда приласкает, на колени посадит, хоть было мне тогда уже лет пять-шесть. И к брату и к сестре она была... Она вообще классный человек была. Приняли мать учительницей, мы переехали. Выделили комнатку. Большой дом был, кулака какого-то, кажется. Шесть семей жили. В общем, работала она там учительницей. После войны, помню, когда Сталин умер, все в трауре ходили. С фронта возвращались только инвалиды, ни один целым не вернулся.

Откуда-то мама услышала, что можно уезжать в Латвию. Из маминых рассказов мне казалось, что Латвия — сказочная страна. Она писала в Латвию, в Министерство образования, что она учительница, что с детьми она там-то и там-то. Заявления ее пересылали от инстанции к инстанции. В конце концов пришел ответ из комитета безопасности, что нельзя. Семья врага народа, возвращаться им нельзя. Потом мама узнала, что в Латвию везут сирот. Я же говорю, мама умная была женщина. Не знаю уж как, допускаю, что директор школы помог, отправила она нас с сестрой в Красноярск, в детский дом. Там тоже было не ахти. Какую-то похлебку давали. Пробыли мы там месяц или даже полтора.

И вот 16 октября 1946 года отправились мы в Латвию. Вначале в поезде ехали две женщины, которые резали хлеб. Дали кусочек хлеба с маргарином. Не масло это было, маргарин или что-то такое. Чем-то мазали сверху. Вначале младшим давали и по конфете. А потом и мазать нечем стало, и конфеты кончились. Исхудали страшно. Многие умерли в дороге. Есть такой город Челябинск, проезжали мимо, видел, как вынесли шесть трупов. Это то, что я видел. Может, и больше было, не знаю.

В Москве попрошайничал на станции «Белорусский вокзал». Сказали, что поедем дальше только через два дня. Потом не помню, как было – то ли из машины в поезд хлеб выгружали, то ли из поезда в машину. Подошел я и смотрю. Охранял солдат с трехлинейкой. Зима была. Когда из Красноярска выехали, там тоже уже была зима. Были у него на шинели какие-то две блямбы. Солдат был в машине, какая-то «тётя Мотя» в поезде. И у солдата случайно, а может и нарочно, выпал хлеб. Ну, я подхватил и бегом к своему поезду. Слышу, как эта тетя Мотя кричит: «Стреляй суку! Стреляй суку!». Слышу, как солдат затвором щелкает. Остановился, подумал – все равно застрелит. Ну и стреляй, черт с тобой! И в буханку зубами вцепился. Если бы я его встретил, если он вообще жив, не знаю, как бы я его благодарил! Тикай, кричит, тикай, дурак! Видно, понял, видно, сам на фронте побыл. Я бегом, он за мной, но медленно так, еле-еле. Я под вагон и в поезд. Так у нас две лишние буханки появились. Поделили.

В Ригу приехали рано утром. Помню, еще старый вокзал был, с куполом. Часы показывали без пяти пять. Я еще удивился – что за часы такие светлые! Перед тем как отвезти в детский дом, сводили в баню.

Я был так «силен», что сам вымыться не мог. И вот мыла она меня, девятилетнего. Живот вспучен-

ный, ножки кривенькие. Спрашивает про дорогу, я рассказываю, а она плачет. Это сейчас я понимаю, почему она плакала, а тогда – чего ревешь? Плачь по тем, кто умер. Я-то жив! Не понимал, почему плачет!

Поместили нас в детский дом в Пардаугаве, на улице Кулдигас. Я сразу понял – в сказку попал. Сами подумайте: в обед суп, котлета, стакан компота и еще яблоко. Не помнил уже, когда так ел. Точно Латвия – сказочная страна.

Я уже умел писать, и по-латышски, и по-русски. Мама учила. Написали мы папиной сестре. Мама дала нам несколько адресов родственников. Мы знали, что какая-то родня осталась. Мама с ними списалась, они, слава Богу, были живы и здоровы. Крестная моя приехала за нами. Переночевали у кого-то из родни, там же, в Пардаугаве, наутро отправились в Даугавпилс, до Илуксте, а там за нами приехал на лошади папин брат. Крестная напекла булочек с корицей и всякими сладостями. Яички вареные, всего чего. Белого хлеба там мы и не видели. На следующий день отправились в Даугавпилс. Едем, крестная спрашивает – есть хочешь? Хочу, говорю, а я не то что есть, жрать был готов. Дала булочку, дала яйцо. Через какое-то время снова спрашивает – есть хочешь? Еще такую же порцию дала. И снова спрашивает – есть хочешь? И протягивает мне яйцо. И тут подходит к нам человек в шинели, без погон, автомат через плечо. Подошел к крестной и говорит, не знаю, мол, откуда ребенок едет... Говорит, естественно, по-русски. Боюсь, говорит, не во вред бы, так много давать не стоит. Представляю, какой видок у меня был. А я подумал – сейчас отнимет, яйцо почистить не успел и в скорлупе в рот и затолкал. Отсюда не отберешь!

Приехали мы в Илуксте, в дом к деду. А там снова – как в сказке. Ну что ты будешь делать! Тогда еще колхозов не было, свое хозяйство, жили хорошо, сытно, работали. Одного папиного брата забрали, второй жил там же. Жила там жена крестного с дочкой. Дом большой, но кто ж тебе даст... Половину дома отобрали, под сельсовет. Нас запихнули в одно крыло. Детей было – трое мальчишек Петериса, мы с сестрой и Лида. И женщины. Но что поделаешь. Лучше, чем в русской деревне. Да и сыты были. Летом ходили скот пасти.

А в 1947 году приехала мама. Ей выдали паспорт и сказали – езжайте, куда хотите. А куда она поедет? Естественно, в Латвию. В школу не взяли, но было под Илуксте такое местечко – Шедере, там она устроилась в детский сад воспитательницей,

тоже хорошо. Сестра окончила основную школу. Уехала в Даугавпилс, год проучилась в Даугавпилсском педагогическом институте. Приехал брат. А тут и 1949 год.

А как у вас у самого было с учебой? В России учились? Полтора года проучился. В Илуксте учителя были в основном бывшие папины ученики. Когда узнали, что мы приехали, трое или четверо пришли навестить. Стали говорить, тебе, сказали, видно в русскую школу придется идти. Но я сказал, что пойду в латышскую. С математикой, с арифметикой проблем не было, а вот с латышским. Ну, велик ли диктант во 2-м классе? Листочка полтора, не больше. Получил тетрадку, насчитал 80 ошибок. Жаль, что тетрадка не сохранилась. Решил тогда, что мне там делать нечего. Мне купили рюкзачок такой, сложил я все тетрадки, встал и посреди урока направился к двери. Учительница, была такая Раубишко, остановила меня, спрашивает, куда это я направился. Я ответил: «Во 2-м классе мне делать нечего, пойду в 1-й». Спустился на этаж, открыл дверь в 1-й класс во время урока, а учительница, Лиепа такая была, говорит: «Теодор, ты дверью ошибся!». Показал я ей тетрадку. «Я должен все начать сначала». 1-й класс окончил с отличием. Есть у меня и похвальная грамота с портретами Ленина и Сталина.

У мамы была такая политика – на одном месте долго не задерживаться. Начала в одном детском саду, потом здесь, в Шедере. А жить здесь было тесно, друг на друге жили. И когда она работала в другом детском саду, летом перевезла меня к брату моего отца, в окрестности Свенте, у него в Вецсвенте было свое хозяйство. Год проучился в русской школе, латышской поблизости не было. Потом я переехал к маме в Шедере. Пешком пошел. Рюкзачок на спину, вот и все. Там я ходил в Эглайнскую латышскую школу. 25 марта 1949 года в воздухе уже что-то носилось. У нас вещи были запакованы. Но на сей раз, слава Богу, не тронули. Брат к тому времени женился, работал в основной школе, километрах в 10 от нас, оба с женой работали. По два класса было в одном помещении. И вот 15 августа. Приехал пьяный милиционер на лошади и увез маму. Я в это время на речке ловил рыбу.

В каком году это было? В 1949-м. Прибегает воспитательница, латышка, беги, говорит, быстро домой. Вбегаю – маму выводят, на телегу сажают. Я спросил: «Мама, что мне делать?» Она ответила: «Иди или к брату, или к родственникам, я не знаю». А эта скотина пьяная, еще и накричал. Фуражка у

него упала, мама подняла. И говорит мне: «Через два дня мама будет дома, никуда не ходи». Я это уже слышал в 41-м. Подумал – делать нечего, отправился к брату, всего-то 10 километров. Пришел, жена брата в положении, говорит мне, что и брата взяли в тот же день. Делать нечего, вернулся в детский дом. Решил через пару дней пойти к крестной в Илуксте. Несколько дней там обо мне заботились, воспитательницы очень маму уважали. Директриса была русская, Людмила Борисовна, очень человечная, и ко мне, и к маме очень хорошо относилась. Через пару дней собрался к крестной. А тут брат появился – его отпустили. И пошел я к нему жить. В 4-м классе брат был моим учителем. 13 или 14 декабря брат отвез жену в Илуксте, рожать. А хозяин дома, в котором была школа, позвал брата к себе, а нас отпустил – марш по домам! Ну кто не обрадуется! Разбежались. Пришел я домой, смотрю, брат в дрожках едет, с ним милиционер. Сердце ёкнуло. Но смотрю – вожжи в руках у брата. Подумал – может, все-таки нет. Вошли оба, брат говорит: «Я арестован». Пообедали, он еще милиционера покормил, тот клялся и божился, что ни в чем не виноват, что, когда брат вернется, он его лучшим другом будет. От сердца говорил или так, не знаю. Во всяком случае, пообедали, взял что-то с собой, и они уехали.

Увиделись мы с ним только в 1956 году, а с мамой в 1957 году. Все у меня есть, весь архив, все копии. А как было? Когда первый раз его взяли, прокурор не дал санкцию на арест, так как когда вывезли, ему не было еще 16-ти, был несовершеннолетний. А этот гэбэшник, или как их там, все писал да писал, пока не добился своего, до республиканской прокуратуры дошел, брата и взяли. Из Илуксте отвезли в Даугавпилс, приговор «тройки» – три года, и маме приговор «тройки» – три года. Отправили рыть канал Волга-Дон, обоих. Были в разных лагерях, только по этапу вместе ехали в одном вагоне из самого Даугавпилса.

Через три года маму отправили в Енисейск, обратно в Красноярский край, брата в Игарку. Он работал там на лесопилке. Мама жила в бараке, и пришел туда однажды учитель, жил уже на поселении. У него умерла жена, осталась маленькая дочка, за ней надо было присматривать. Мама вначале не хотела, но потом все же пошла в домработницы. Через год или два Юзефа, жена брата с дочкой Кристиной приехала в Игарку. Родила она в тот самый день, когда забрали брата. Стали они писать, чтобы разрешили переселиться в Енисейск к маме. Одно

дело – за Полярным кругом, совсем другое где-то посредине. Разрешили в конце концов.

А потом начались геологоразведочные работы – строили электростанции. А вся геология была в подчинении НКВД. Вечерами брат учился, приобрел специальность шофера, дали права. И пошел в геологию – то ли в управление, то ли куда. В институт или в филиал. Не скажу уже сейчас. Сидит майор, который всей геологией управляет. Брат все рассказал, так, мол, и так. Тот и говорит: «Давай права, завтра выходи на работу». Вначале брат на грузовике ездил, ну, он работящий был, как все латыши, как все в нашей семье. Майор заметил его, взял к себе шофером. Два года, кажется, возил майора на бобике. Но брат тоже времени не терял, по вечерам ходил на Енисей, леса много сплавляли, багром бревна вытаскивал. А так как у него был грузовик, навозил бревен, дом построил. В 1956-м дом продал, было на что в Латвию вернуться.

Расскажите, что вам известно об отце. Тут вот у меня свидетельство о смерти, 23 июня 1942 года... А 2 мая его вызвали на допрос. Составили акт, что 3 мая такой-то и такой умер от туберкулеза легких. Составили акт через полтора месяца, четыре подписи

врачей. Такой вот был конец. Не знаю, есть ли у него, у бедного, вообще могила или выбросили через забор волкам на съедение. Ясности никакой, ни в одних документах больше ничего нет. Вот и все, что я знаю об отце. Одно могу сказать – человек он был несгибаемый, ни на одном допросе не юлил. У меня и вопросы есть, и его ответы. Несгибаемый был человек.

И брат такой, все мы такие. Вероятно, потому я и перешел из 2-го класса в 1-й. Во-первых, латышская школа, во-вторых, ясно было, что надо переходить. Среднюю школу окончил хорошо. Хвалиться нечего, очень хорошо окончил. Мама хотела, чтобы я стал врачом. Доктор Ога, покойный уже, главврачом был в Илуксте, тот тоже говорил – Теодорс, ты должен стать врачом. Ну ладно, поехал в Ригу, жил у тетушки, которая приютила меня в 1946-м. Пришел в Анатомикум, там документы тогда принимали. Смотрю, одна девочка читает учебник химии, другая – физики. Подумал – да вы же только что экзамен сдали, неужто же ничего не смыслите? Время у меня еще было. Может, если бы сразу подал, поступил бы. Ходил, думал – не лежала у меня душа к медицине, а для кого-то это, возможно, мечта всей жизни. Не пошел...



Теодорс с мамой Вандой и сестрой после депортации. Латвия, 1949 год

ВАЛДА РУБУЛЕ (ПУКИТЕ)

родилась с 1932 году



Я Валда Пуките, урожденная Рубуле. Родилась 1 апреля 1932 года в Кулдиге. Отец был землемером Кулдигского уезда, мы там и жили. Там же родились две мои сестренки и брат. В 1937 году переехали в Салдус, в свой дом. Землю отцу дали за Освободительные бои, он был офицером, сражался в батальоне Калпакса. В 1941 году его уволили с должности землемера, и он жил дома.

Помню, как за нами приехали. Не помню, на каком языке говорили. Я на это не обратила внимания. Мне было тогда девять лет. Собрали нас всех. Мама принялась паковать мешки с вещами. Машина стояла довольно далеко от дома, до нее шли пешком. Отвезли на станцию в Салдус. Мама тогда не работала, вела хозяйство и всех нас пасла.

У вас было крестьянское хозяйство? Очень маленькое, земли всего 10 гектаров. Дом был небольшой, отец же был землемером. Были две или три коровы... больше ничего особенного и не было. Дом стоял в красивом месте.

А что было дальше? Отвезли нас на станцию в Салдус. Там разлучили с отцом. Отца увели, нас посадили в вагон, в котором перевозят скот. Маленькие оконца за решетками. Были там деревянные полки, под ними мы спали. Больше ничего не помню. Только помню, что хлеба у нас больше не было... Когда приехали в Россию, стали давать кирпичики. Первый раз такой видела. Есть его

было невозможно. Соленый, противный. Не знаю, так мне тогда показалось. Кажется, иногда приносили и суп, но какой, не помню. Как долго ехали, тоже не знаю.

Брат Гунарс был на год младше. Сестра Велта на четыре года младше.

Одна сестренка осталась в Латвии, ее тогда не было дома. Потом она уехала в Германию. Конечная станция, куда нас привезли, называлась Заозерная, в Красноярской области. Высадили, потом повезли в деревню, называлась она Усть-Барга. Туда привезли много латышей – и из Гробиньской волости, из Салдуса, были и из Риги. Там была лесопилка, все в основном там и работали. Больше негде было. Сестра в дороге заболела дизентерией. Когда приехали, расселили нас в школе на полу. Врача не было, только фельдшер, за какие-то грехи его и прислали в этот дальний угол. Он делал все, что мог. Конечно, никаких лекарств не было. Он, правда, умел обращаться с травами. Мама потом рассказывала: если он заходил в комнату и начинал кричать, знали, человек будет жить, если заходил и молчал, значит, дело худо. Такой вот он был. Накричал на нее – что это она себе вздумала. В тот раз сестренка не умерла.

Из школы нас развезли в пустые дома – стекла выбиты, дома заброшены. Там мы и жили. Ничего никому не давали – ни хлеба, ничего, никто ни о ком не заботился. И латыши пошли продавать свои вещи, доставали картошку, муку. Ходили в дальние деревни, километров за 20–30, еще дальше, тащились с мешками, приносили продукты. Но продолжалось это недолго. Маму неожиданно арестовали. И остались мы трое без мамы. Забрала нас к себе латышка, у которой и своих было трое. Грудной ребенок у нее умер, есть было нечего, молока не было. Эта женщина нас приютила, но кормить нас

ей было нечем.

Почему же маму арестовали? Что случилось, да. Я расскажу, что случилось. Ходила она, продавала вещи. А люди там, похоже, и простыней не видели. А слу-

Маму неожиданно арестовали. И остались мы втроем. Нас взяла к себе латышка, у которой и своих было трое.



Гунарс, Мирдза, Валда

чилось еще так, что перепутали на станции мешки, и у нас оказались папины вещи. Маме было что продавать. Вот люди и удивлялись. А мама возьми да скажи: «Мы в Латвии хорошо жили». Вот за эти слова ее и арестовали. А выдал ее латыш. И никто другой, как шофер Улманиса, фамилия его была, кажется, Румпитис. Они вместе ходили. Ну, он и рассказал это в чека, маму арестовали и в лагерь. Его это была работа. Мама об этом узнала и мне рассказала.

А что с вами было? А какой у нас выход был, каждый день ходили побираться. Поделили деревню на части. Через два-три дня снова ходили в те же дома. Русские давали нам все, что у них у самих было. Да у них и у самих ничего почти не было. По картофелине, по две-три. Через пару дней те же самые снова подавали. Так и перебивались. Собирали лебеду, варили. Просили, чтобы в огородах разрешали рвать, если уж нигде не было. Хорошо, если в лесу удавалось дикого луку нащипать, но за ним надо было ходить далеко в тайгу. Мы, дети, сами туда не ходили, если кто принесет. Деликатесом считались дикие лилии. Похожие на наши красные. Из луковиц колоссальный суп получался. А если еще полстакана молока добавить, было очень вкусно. А так на воде варили. А потом мама побеспокоилась, чтобы нас взяли в детский дом. И нас отправили. Провели там зиму. Потом нас отвезли в Ачинск и еще дальше в «Павловский

детдом». Всех троих. Это был специальный детдом – там были только поволжские немцы и мы, латыши. Других почти никого не было. Привозили по одному. В детском доме нас, конечно, кормили, но есть все равно хотелось. Но жить все же можно было. Снабжали этот детский дом американцы. Продукты были из Америки. Особенно запомнился яичный порошок. Никогда раньше не видела, как делается омлет, давали всем по маленькому кусочку. И одежда была американская.

А чем занимались в детском доме? Какие отношения между детьми? Все было нормально. Ничего плохого не скажу. Воспитательницы все были русские, но очень все было нормально. Ходили в школу, в поселок, в русскую школу, естественно, вместе со всеми. Вначале было трудно. Мне почему-то особенно. Ничего не понимала. Были и умные ребята, быстро все схватывали. А со мной иногда бывало, что никак не могла отличить «и» от «ы». Но учительница была очень славная, очень хорошая.

И вот в 1946 году мы приехали. Распространились слухи, что дети, оставшиеся сиротами, могут уехать в Латвию. Как это стало известно, не знаю. Не помню, как добирались до Красноярска, помню только, что был вагон с детьми, может быть два. Плохо помню и обратную дорогу.

Хотели вернуться в Латвию? Да. Но как нас везли, не помню. Было нас много, сидели тесно.

Сестра в детском доме заболела, тяжело. У нее, кажется, был костный туберкулез. Она умерла. Вернулись только мы с братом. А мама только через 15 лет. В 1956-м или 1957 году, когда уже все стали приезжать.

Всякое случалось. Но мама знала русский язык, это помогло. Пересылали из лагеря в лагерь. Но у нее нога была больная, на тяжелые работы не посылали, все больше на складе работала, белье чинила, что-то такое. Рассказывала, сколько там умных и хороших людей было, особенно среди русских. Но и бандиты были, целые шайки. Про одну женщину из Москвы рассказывала. Та шла по улице, немцы листовки разбрасывали, подняла посмотреть, что это, так за это ее в Сибирь отправили. Мама говорила, сколько там славных людей было.

Значит, в ссылке она была всего несколько месяцев? Да, все остальное время была в лагере.

Вы помните, какая она вернулась? Как выглядела? Узнала, я знала, что это мама. Когда ее взяли, ей было 35 лет, а вернулась тетенька.

Мы стояли, рты пораскрывали – все же мама это. Потом жили все вместе, сюда приехали. Когда мы с братом вернулись, отвезли нас в детский дом на улице Кулдигас, оттуда нас к себе взял папин брат, привез сюда, в эти края. Тут и жили.

Наш дом был чуть дальше от Лубаны, в сторону Звиздиены. Ходили в Лубанскую школу. Оба – и я, и брат – окончили школу в Лубаны.

А что случилось с отцом? Мама, когда домой приехала, писала в Россию, в Москву, интересовалась. Никто ничего не знал.

Только сейчас и стало известно, что его привезли в Киров и 13 января 1942 года расстреляли. Многие из тех, кого забрали, там и были расстреляны. В этом году вот и брат умер. Стараюсь держаться.

Дом, конечно, не вернули. И близко не подпускали. Мама, как приехала, стала спрашивать. Но запущено там все было так, что, казалось, дому все 200 лет. Сейчас вот только отдали. Ремонт большой нужен, чтобы жить там хоть сколько-то можно было.

Одно хорошо – что не совсем порушили – там все советское время метеослужба была, даже и сейчас там. Ну, и народ какой-то жил – приходил, уходил. Кусты перед дверью вросли, совсем дверь закрыли, трава, сорняки, грязь вокруг...

Вспоминали Сибирь? Да нет, не особенно. Но во сне вот все вижу – ничего у меня нет, ни обуви, ни сумочки какой, и сейчас уводить будут. Поезда какие-то, повезут куда-то. Долго такие сны снились, сейчас-то уж нет... Только во сне и вижу. Наяву и не вспоминаю. Сна ни одного нормального не вижу.

Можете ли вы сейчас простить все, что случилось с вашей семьей? Народ ни в чем не виноват, а тем – ну, нет. Их идее – нет. Не считаю, что мой отец или я были в чем-то виноваты.

Среди русских было очень много замечательных людей, сердечных, помогали латышам, ничего не скажу. Но вот как сейчас они тут выступают... Таким что прощать. Ненависти особой нет, но я их не принимаю. У меня и подруга русская, очень хороший человек, но не эти.



Валда с братом Гунарсом



ИНТА ДАЦЕ РУДЗИТЕ (ЭГЛИТЕ)

родилась в 1941 году

Бабушка – мамина мама, которая воспитывала меня с пяти лет, рассказывала, что в 1941 году было ужасно жарко, с самого раннего утра. На рассвете к дому подъехали машины. Ее дом был в полукилометре от нашего. Рассказывала - как она увидела машины, как прибежала к ней соседка и сказала, что машины увозят Рудзитисов. Бабушка схватила какие-то вещи и бегом к нам, в «Опсы». Пока прибежала, всех уже увезли, мама только рукой помахала... Может быть, она побоялась подойти, но об этом она не говорила. Все до самых мелочей рассказала мне мама. Отец встал рано, крестьянин все-таки, пошел осматривать рожь. У отца были большие поля ржи. Когда они приехали, отца дома не было. Мама встала, дед тоже, что делать, не знают. Мама была в положении. Отец был человек образованный, умный, но и он не знал, что делать, я так думаю. Вероятно, думал – у меня все в порядке, почему меня должны забрать?

Когда забирали, была настоящая трагедия. Мама с большим животом в машину забраться не могла. Помог ей милиционер или «истребитель», вот не знаю. Папа закричал: «Что вы делаете?» За что получил прикладом, на него еще и накричали. Мама страшно плакала.

Отвезли их в Крустпилс, там уже стояли эшелоны. У отца были деньги, дедушка тоже что-то взял, но точно бабушка сказать не могла. По ее рассказам, ничего у них не было. Бабушка – сильная женщи-

на – сразу же отправилась в Крустпилс. А там охрана, не подпускают. Бабушка говорила по-русски, стала упрашивать, чтобы разрешили найти дочку. Наконец, подпустили, она передала узелок с продуктами. Окна открыты, но забраны решеткой. В узелке был хлеб, мас-

ло, кусочек мяса. Мама сказала, что у Карлиса – у отца – нет ни крошки хлеба.

В Даугавпилсе поезд долго стоял, где отец, мама не знала, она была вместе с дедушкой, он был старый, поэтому его и везли вместе с невесткой. Дедушку звали Юрис Рудзитис.

Мама рассказывала, что в Даугавпилсе было очень жарко, ей все время хотелось пить. Просилась выйти за водой, сначала не пускали, потом она пошла под конвоем, а потом конвоир отпустил ее одну — может быть, думал, что мама убежит, она так плакала и просила. Но мама бежать побоялась, думала, что ее могут застрелить. Так и поехала она навстречу неизвестному. Бабушка говорила — мама должна была убежать, пешком бы дошла...

Привезли их в степь, в «Зерносовхоз». Там она работала то ли при скотине, то ли при зерне. Местные и сами голодали, одеты были в обноски. Это была станция Красная Сопка, в 300 километрах Саяны и граница с Китаем. Надо было ехать до Абакана, оттуда в Ачинск, или наоборот, тогда можно было до мамы добраться.

Отца увезли в Вятку. Не знаю, как было все на станции в Крустпилсе, где их вагон отцепили...

Бабушка и дедушка – с маминой стороны – это была другая семья, их фамилия была Бебрис, в 1941 году их в списках не было. Их записали в кулаки, и в 1949 году, когда собрались вывозить, они убежали на болото, а потом их никто больше не искал. Меня в это время отвели к соседям – они

были бедные, и их не выслали.

Мама была в Краснозерновске. Я родилась в ноябре. С июля по ноябрь она работала. Я даже не знаю, где я родилась, во всяком случае, не в больнице. Возможно, был там ка-

В России я даже в детский садик ходила. Была такая комната, куда приводили детей рабочих. Я как-то пропала – упала в картофельную яму.

кой-то медпункт. Мама была в отчаянии – нечего было есть.

Была там семья Балодисов из Засы. Балодис был волостным старостой. Думаю, что и дочки Элзы уже нет среди живых, она и в те годы была уже в возрасте. Они вернулись в Латвию, но контактов с ними я не поддерживала.

Мама искала старые простыни, чтобы меня завернуть. Помнится, что я лежала в люльке. А матушка Балоде маме говорила: «Не горюй, дочка, не горюй, как Господь распорядится, так и будет!». Завернули меня, покормили. Хлеб, кажется, и детям полагался. Мама, видно, отдала меня на попечение матушке Балоде. Сначала они, кажется, жили вместе, был же еще дедушка. Он на время устроился сторожем, ему зарплату платили. Когда узнал, что папа погиб, его отношение к маме сразу же изменилось. Пока не знал, к маме хорошо относился.

В России я даже в детский садик ходила. Была такая комната, куда приводили детей рабочих. Я как-то пропала – упала в картофельную яму.

Помню, шла за повозкой, в которой везли картошку. Я тоже сильно болела. Искали меня все, и русские женщины, которые с мамой работали. И Дуня, или Дуся, меня нашла. Точно как в кино «Долгая дорога в дюнах». Мама рассказывала, что однажды думала даже жизнь окончить — ребенок плачет, кормить нечем... И со мной сейчас так — как только мне надо кого-то кормить, начинаю нервничать — найдется ли чем. Вероятно, с тех самых пор... Ничего там не было. Бабушка стала присылать посылки, но их вскрывали — продукты вытаскивали, тряпки какие-то запихнут... Это уже когда посылать можно было.

Помню, мне было уже пять лет. Приехали – бревенчатая изба, все добела вычищено.

Стало уже лучше, мама замуж вышла. Фамилия ее Уханева. У нее были утки, гуси, куры, овцы. Все вместе, кто сторожил – не знаю. О первых годах мама много рассказывала – работаю, говорит, а есть нечего. На руках маленький ребенок, покормить нечем... Думала – в речку, и покой. Шел мимо старичок русский, спросил, что мама у реки делает, успокоил ее – всем, говорит, нелегко, пошли домой. Мама уже в речку забрела. Говорила, Бог мне его послал, заговорил с мамой по-русски. Подробнее я не знаю.

Со мной мама расставалась три раза. Никак не могла отдать, чтобы увезли в Латвию. Привезла

меня в то место, уехала и вернулась. И так три раза. Если бы я осталась в Сибири, я бы умерла – сильно болеть стала. И в дороге болела. Не понимаю, как все это перенесла. Ревматизм сердца был, ходить не могла. А в Латвии еще больше стала болеть. Так вот и рассталась со мной мама в третий раз, привезла, и мы расстались.

Помню, что в вагоне спала на полке. Помню только отдельные эпизоды. Помню картофельную яму, помню, как с матушкой Балоде ходили в лес собирать яйца – то ли глухариные, то ли тетеревиные. Помню, что зимой однажды ели какие-то плоды, может быть, шиповник. Помню, как в поезде проводницы мерили мне температуру. Лежала я отдельно. Потом вместе со всеми, на второй полке. А внизу было масло. Я думала – воткну пальчик... Но знала, что нельзя. А так хотелось... давали всем кусочек хлеба, сверху чуть масла.

Потом долго была без сознания. Проводницы свой долг выполнили – доставили детей в Латвию. Я попала бы в детский дом, но дедушка меня удочерил – поехал в Ригу к самому Кирхенштейну. Принял он его не сразу.

Были такие Америксы – Айна Америка, у нее в Риге сестра Яунземе, брат Яунземс, к тете в кавалеры набивался. Через него дедушка и попал к Кирхенштейну и получил бумаги, что может меня забрать. И меня отвезли в деревню. Бабушка и тетя ездили к ним в Ригу, взяли и меня. И я никак не могла понять, как люди ходят по городу, как они попадают в эти большие дома?

Когда меня привезли, поехали сразу в Кукскую волость. Потом приехала тетя, всплеснула руками: «Что у тебя тут за дикарка живет?». Это обо мне. Я была маленькая, дохленькая, ножки тоненькие. Как только она приходила, я пряталась под стол. Когда попала в Риге в детский дом, отвели в баню, остригли, только потом родственникам отдали. Идти я не могла, а нести меня бабушке было тяжело.

Тетя сказала, что Айна живет в Юрмале, помню ли я ее? Это, вероятно, была та самая женщина, которая нас приютила, прежде чем мы оказались дома.

Мама осталась в Сибири, она и сейчас там живет. Живет вместе с Ефимом. У Ефима умерла жена, осталось четверо детей. Они там познакомились. Ефим приезжал сюда, когда еще жив был дедушка. Говорил он Ефиму, чтобы оставался в Латвии, но тот не захотел. Сказал, что ему своя земля дорога. Мама

вырастила его четверых детей, у них и своих было двое. Две дочки, Ефим умер. Они уже замужем, одна учительница, Надя, муж ее механик в совхозе. У Люды муж военный. Мама живет в Новоалтатке, в Березовском районе Красноярской области. Я хотела перезахоронить дедушку, но мама сказала: «Пусть лежит там, где похоронен». У них, видно, отношения были не очень хорошие, мама же замуж вышла. Дедушке было лет 70, когда он умер. В каком году, не скажу. Он там работал, получал зарплату, но был скупой, жил отдельно.

Дедушка умер, а у мамы ни копейки. Как похоронить – не знала. Дед зимой и летом ходил в ватных штанах. Оказалось, что все деньги были у него в штанах. Мама с соседкой распороли – а там полно денег. Похоронили. Дед, видно, все надеялся вернуться в Латвию, но умер раньше, чем разрешили. Мама тоже не могла вернуться, только в 56–57-м году. Мама получила от отца письмо, ответила, но следующее письмо написал ей чужой человек: «Карлиса больше нет». Мама написала еще раз, и снова пришел такой же ответ. Мама попросила справку о смерти, прислали, и оказалось, что отец и года там не прожил.

В начале Атмоды врач из Даугавпилса составил список тех, с кем сидел в лагере. Его опубликовали.

Отцовских документов у меня нет. Думаю – может попросить... Дом вернула. Дом был не очень большой, отец собирался новый строить. Не успел. И материалы разграбили...

В Латвии они жили недалеко от Крустпилса, на хуторе «Опсы» в Кукской волости.

Дедушку звали Юрис, а русские назвали его Егором. Им это раз плюнуть...

Второй раз меня высылать не собирались. А многих отправили второй раз.



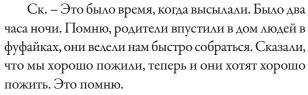
Сибирь

СКАЙДРИТЕ РУДЗИТЕ (ДУМС)

родилась в 1932 году

РУТА РУДЗИТЕ (ПЛАТО)

родилась в 1934 году



Кто сказал – русские или латыши?

- Ск. Русские. Вещи велели завязать в одеяла и в простыни и увели нас. А что вы, Рута, помните?
- Р. Помню, как простыни расстелили на полу и складывали вещи. Один был такой гуманный, что сказал берите хлеб. Все завязали. Положили зимнюю одежду, это было главное. Нас подняли со сна.

Испугались ли вы?

Ск. – Нет, дети мы, нам было все равно. Помню, что и мы принялись паковаться, но нам не разрешили, раскидали все, что мы уложили, сказали, чтобы родители паковали. Мы тогда болели корью, нас из постели вытащили.

Помните ли вы отца?

Ск. –Да. Он все больше мной занимался, младшей.

Когда вы его видели в последний раз?

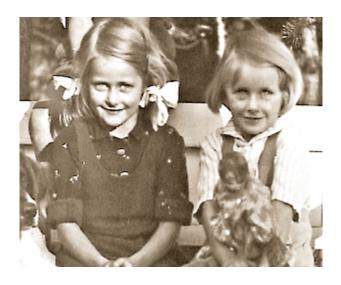
Ск. – На станции Торнякалнс, в вагоне, где были мужчины. Он сидел на вещах и звал Иварса, а мы должны были идти туда, где сидели женщины с детьми.

Расскажите, что запомнилось о поездке.

Ск. – Было очень тесно, мы спали на нижней полке, в ногах люди сидели на своих вещах. Ходить

было невозможно. Была труба – туалет, вот не помню, чтобы туда ходила. Через три недели нас, наконец, выпустили из вагона.

Р. – Папа со всеми вещами был в другом вагоне, в том-то и трагедия, там были все наши зимние вещи. Так он с



ними и уехал. На нас были летние платья, мама тоже была в летнем. А там, чтобы купить зимнюю одежду, невесть какие деньги нужны были, да и местные были бедные. Ничего там нельзя было купить. Для мамы это была катастрофа, надеть нечего было, когда пришла зима. Все вещи остались у папы в вагоне.

А что в дороге ели?

Ск. – У мамы была коробка с печеньем, его и ели.

Р. – В окошко нам передали папин чемоданчик, он послал нам печенье. У него были все вещи, и коробка с печеньем тоже. Кто-то через окно передал детям Рудзитиса.

Изредка в дороге появлялось ведро с супом. Качество никудышное. И не каждый день. Принесут ведро с супом, а посуды, куда разлить, нет. Помню только, что ведро к вагону приносили.

Как долго вы ехали?

Ск. – Кажется, три недели. Выпустили нас на каком-то лугу, мы бегом в кусты, вымылись в какой-то речке. Больше не помню.

Когда приехали на место, поселили в бараке, деревянная стенка тонкая, кровать была на пятерых, остальные спали на полу.

Ваши детские воспоминания, как чувствовала себя мама?

Р. – Разве мы тогда понимали. А когда стали понимать, я все думала – хоть бы это была сказка, хоть бы я проснулась в своей кровати. А вначале и не понимали, что произошло. Первое, что я заметила, как только приехали, – коровы пасутся, рядом

мальчик. У мальчика в руках хлеб, он протягивает его корове, а как только корова берет хлеб, он ее палкой по морде. Плохо же мне стало, никогда такого не видела. Вот первое мое впечатление.

Старшая сестра Ливия была нам вместо мамы. Она заботилась о нас, доставала продукты. А было ей самой 13 лет. А потом началось время, когда нечего было есть. Все меняли. У мамы были золотые часы и кольца, все обменяла на продукты, на муку, крупу. Тогда и стали мы голодать.

Когда мама пошла работать? Работала ли Ливия?

Ск. – Там можно было деревья валить. Одежды не было, и она из своего фланелевого халата сшила какую-то обувку. Но было две пары, а нас пятеро. Отдала их Ливии и Иварсу, чтобы они ходили в лес собирать дрова.

А за что вам давали хлеб?

Ск. – Хлеба давали по 400 граммов на человека, им, в основном, и обходились. Каждый день надо было ходить в магазин. Другого ничего не было.

В школу ходили?

Ск. – В школу не ходили, пока была жива мама. Там и школы не было. Когда мы попали в дом инвалидов, когда мама умерла, они нас и отправили в школу.

Можете рассказать, что случилось с мамой, от чего умерли мама и сестра?

Ск. – Помню, что жили мы в будке, в потолке была дыра. У мамы начались страшные боли. Ливия ее подняла. Потом пошла в контору просить, чтобы отвезли маму в больницу. Так ее и увезли, и она все кричала. Обратно не вернулась. В больнице и умерла.

Известно, от чего умерла?

Ск. – От голода. У нее от голода внутри все болело. Сама-то ничего не ела, все нам отдавала.

Р. – Есть было нечего. Летом варили суп из крапивы. Мы, даже голодные, есть его не могли. Видно, и у нее от голода что-то внутри случилось.

Ск. – Да, сильные у нее были боли.

Вас осталось четверо, и все малыши. Вы помните, что чувствовали, когда мамы не стало?

Ск. – Старшая сестра Ливия была нам вместо мамы. Она заботилась о нас, доставала продукты. А было ей самой 13 лет. Вот и сама надорвалась и умерла.

Р. – Она ходила за 30 километров в Ирбею, говорила начальникам, что у нас мама умерла, чтобы взяли на государственное обеспечение, одни мы остались. Бежала эти 30 километров через лес. Что-то с легкими у нее случилось. Нас спасала, а сама умерла.

Это было уже в доме инвалидов?

Р. – Да, это было в доме инвалидов. Там о Ливии очень заботились. Что вы помните о жизни в доме инвалидов?

Р. – За это нашей старшей сестре Ливии спасибо надо сказать. Здесь, когда училась, она была отличница, светлая голова у нее была. Спасая нас, бежала

эти 30 километров через тайгу, вернулась то ли вечером, то ли на следующий день. Вспотела, измучилась, еле-еле в дом вошла. И вот в один прекрасный день за нами приехали. Ты расскажи, как нас отвезли, как мы там жили, ты лучше помнишь.

Ск. – Отвез нас старик, отвез в исполком. А там от нас отказались, мы были детьми ссыльных, в детский дом не брали. И тогда этот человек вышел, сказал, чтобы с нами делали, что хотят, а сам уехал. А там не знали, что с нами делать, пока не поместили в дом инвалидов.

Р. – И снова спас нас русский человек.

Что это был за дом инвалидов? Кто там был?

Ск. – Всякие были. Кто без ноги, у кого эпилепсия, и слепые были.

Р. – Вообще там была очень интересная публика. Инвалиды всех степеней. Были одноногие, были и вообще без ног. Был молодой финн, у него ног не было до самого таза, у него были две подушечки на руках, и он опирался и переступал всем телом. Говорили, что он с финской войны. Была женщина, которая ходила на корточках, говорливая такая русская женщина. Она и ребенка родила там, в доме инвалидов. Были мужские палаты, были женские палаты, и между ними была любовь. Все они были молодые, этой женщине было лет 30.

Всякие инвалиды, на костылях ходили, ноги парализованные. Был там один русский, не было у него ладоней. Он сидел на крыльце, крутил папиросы и курил. Как-то крутить приноровился. Про нас с сестрой он говорил: «Эта тихая, а эта болтает». Мы всегда мимо него ходили, ни одного плохого слова нам не сказал.

А как ваша сестра? Что она делала?

Р. – Начальство было отзывчивое, ее устроили в столовую официанткой, еще и в кухне у нее была работа. Мы с сестрой ходили пасти скот. Очень рано приходилось вставать. Там не так, как у нас, в загоне, там надо было пасти в тайге. А там медведи, сторожить надо. Они разбегались, приходилось ловить. А летом в тайге жара. Тучи мух. А ночью спать невозможно – клопы нападали.

Все видели, что Ливия больна, устроили ее в столовую, там ее кормили, но это ей не помогло.

И еще – мы обе со Скайдрите болели оспой. Открою глаза – вижу, она спит, и мои глаза закрывались, и я снова засыпала. Так мы провалялись без сознания долго, лекарств не было. Но однажды увидела, что Скайдрите сидит, и я села. Ливия принесла каждой кулечек с сухарями. Она в столовой собирала наши

порции, сушила, и вот принесла. И сейчас я, когда молюсь, благодарю через Бога сестру свою, что она так делала. Старшая сестра у нас была хорошая.

А что произошло дальше? Как вы домой поехали?

Ск. – В доме инвалидов мы ходили в школу. Мне было 11 лет, я пошла в 1-й класс. Сестра тоже в 1-й класс. Были мы уже в 4-м классе, когда директор нам сообщила, что мы можем уехать в Латвию. И повезли нас обратно 26 ноября, лошадьми до Красноярска. А это почти 400 километров. Сначала везли на лошадях, потом на грузовике. Тяжело было.

Р. – Обратный путь для меня оказался труднее, чем вся жизнь в Сибири, потому что была зима. Возчик велел нам идти пешком, то ли ему страшно было, чтобы мы не замерзли, то ли лошадь не везла. И шли мы за санями, пока ноги не отказывали... Тогда он разрешал сесть в сани. Кажется, он довез нас до Канска, а там мы уже сели в машину.

Ск. – В Красноярске мы уже сели в поезд.

Р. – В Красноярске нас ждала Анна Лусе. Самое ужасное было до этого. В Красноярске мы долго жили в том месте, где собирали детей. Но была, по крайности, крыша над головой.

Обижал ли вас кто-то? Как складывались отношения с другими детьми, со взрослыми?

Ск. – В доме инвалидов было кому защитить.

Р. – Из инвалидов никто слова плохого не сказал за все три-четыре года, что мы там жили. В школе тоже никто не задевал. С русскими детьми дружили.

Ск. – Классы были маленькие. В одном классе учились 1-й и 4-й класс.

Р. – Были и подружки. Мне еще писали, переписывалась с одной русской из того села, где мы жили, потом они перебрались в Талай. Написала: «Больше мне не пиши, переезжаю в Талай...» Были подружки, никто слова дурного не сказал.

Ск. – Учительница нас любила. Мы были девочки послушные.

Р. – Были послушные и культурные. Не воровали. Как бы трудно ни было, мы не воровали. В школе, например, один небедный мальчишка украл у Нины Александровны перочинный ножик. Павлик такой, фамилию забыла... Нина Александровна Кордакова была наша первая учительница, очень интеллигентная русская женщина. Она стояла перед классом и просила, чтобы ножик ей вернули, чуть не со слезами на глазах. Это была память о брате, который погиб на войне. Пришла им повестка, что брат погиб. А там, если приходила повестка, что кто-то погиб, люди выходили на крыльцо и плакали так, что по всему селу

было слышно. Такая у них была традиция. И тогда Павлик вернул ножик.

И вот вы приехали в Латвию...

Ск. – Да. На станции нас встречал синий, еще довоенного времени автобус, всех посадили и отвезли в Пардаугаву, в баню.

Р. – Хочу еще сказать, что на вокзале в Риге встречал нас господин Делиньш. Он подошел к нам, как свой человек. Стоял посреди автобуса и спросил: «Ну, дети, едем ли мы через Енисей?». Очень хорошо к нам относился.

Ск. – Привезли в баню, продезинфицировали всю одежду.

Р. – Вшивые мы были ужасно. Когда жили в доме инвалидов, привозили разных людей – поляки были, калмыки, все ссыльные старики, были и молодые. Полякам после войны присылали пособие, искусственные шубки. Русские давали их не полякам, а нам, кому нужнее было. По потребностям, по принципу коммунизма.

Я шубку вывернула, провела ладошкой – в ладошке полно вшей. Они заедали нас, потому что мы голодали. Когда везли в эшелоне, есть нечего было. Мы ехали с последним эшелоном.

Ск. – Когда одежду после дезинфекции вернули, в ней оказались дырки, прожженные места. Там, где грязь была, все выжгло.

Кто вас забрал?

Ск. – Господин Делиньш разыскал место, где мы жили, нашел тех, кто знал, где наша родня, сами-то мы ведь не знали. Первого нашел моего двоюродного брата. Он сообщил моей крестной, и она с женой брата за нами приехала.

Р. – А я в то время болела. Пришлось ждать, пока не поправлюсь. Была температура, болело горло. Я поправилась, и Алида Розите, жена нашего брата, забрала всех троих. В большом долгу мы перед ней.

Ск. – Рута еще некоторое время пожила у двоюродного брата.

R. – Да, искали мне приемных родителей. Она знала Артурса Кундзиньша и его жену Ирену Кундзиню. Они были люди одинокие, сына их забрали в легион. Он был жив, но остался за границей. И они жили одни. Он был ученый лесовод, работал в Академии наук, хорошо зарабатывал, руководил в академии сектором, хотя в партии не был. Умел руководить людьми, хороший организатор. И они взяли меня к себе. Никаких материальных трудностей они не испытывали. Жила у них в трехкомнатной квартире. Большое внимание они уделяли моему образо-

ванию, я окончила среднюю школу. Брат не мог себе этого позволить, он очень многое в жизни потерял. Если бы он получил образование, которое получила я, живя у приемных родителей, он бы в жизни достиг большего.

А что вы окончили?

Р. – Мои родители отправили меня в школу, я окончила не только среднюю школу, но и институт. Поступила в Сельскохозяйственную академию, стала зоотехником, любила возиться с животными, отучилась четыре года, отработала по распределению, но все же оказалось мне это не совсем по душе. И я ушла работать туда, где мне больше нравилось – пошла швеей на фабрику. Да и заработать можно было больше.

Но в Сибири вы были вместе, как себя чувствовали, когда вас разлучили?

Ск. – Мне было очень плохо, когда меня разлучили с братом и сестрой.

Р. – Я каждый день от своих замечательных приемных родителей, которые обеспечивали меня с ног до головы, к ней бегала. Не могла усидеть, как только минутка свободная, так в трамвай и к ней. Когда она была рядом, мне было хорошо.

Ск. – Приемная мать была одинокая женщина, мне было совсем невесело, я привыкла среди людей. Но с годами свыклась. Всегда навещаю брата.

А могла ли вас ваша приемная мать отправить учиться?

Ск. – Я окончила всего семь классов. Она и дальше готова была меня учить, но тут стали высылать второй раз, она боялась, что увезут, и отправила меня учиться ремеслу. И стала я портнихой.

И работали там все время?

Ск. – Девять лет отработала, потом вышла замуж. Когда дочка родилась, муж работать запретил. У меня был хороший муж. У нас было трое детей, я сидела дома, воспитывала. Муж умер, когда ему было 58 лет, астма. Он был шофером, видно, бензином отравился. Вот уже десять лет одна.

А как сложилась ваша жизнь, Рута?

Р. – Мой муж – Плато, из семьи высланных. Отец его был Юрис Плато, на улице Калькю у него был магазин, из-за этого его и выслали. Муж



Слева: Рута, Ливия, Иварс и Скайдрите. Латвия

по счастливой случайности здесь остался. Он в тот день уехал к бабушке в деревню, это его и спасло, но он все время переживал, что родителей выслали, не мог понять, как можно было так поступить с людьми, которые ни в чем не виноваты. Умер он недавно, два года назад, и до последней минуты не мог понять, как можно было выслать людей, которые ни в чем не провинились, никого не убили, не ограбили. За что?..

Не мог этого пережить, совсем извелся. Он очень мать свою любил.

Мать мужа вывезли с годовалым ребенком, вывезли его деда, отца. Еще какого-то мужчину, которому вообще ничего не принадлежало. Всех увезли, убили. А как они поступили с мужчинами!? Говорят сейчас: «Не плачьте, латыши, не нойте!», но разве это можно забыть? Это надо забыть!?

С мужчинами они поступили ужасно. Мы еще хоть попрошайничать могли. Собирать картофельные очитки, выковыривать их из-под снега, чтобы съесть.

Сестра вашего мужа тоже погибла?

Р. – Нет, слава Богу, сестра вернулась. Мама ее, Мария Плато выдержала, кажется, до 1947 года. А девочка вернулась. Ей сейчас 60 лет. Поблизости от нас латыши были, помогали хотя бы за ребенком присматривать. А она вязала, вязала, это и спасало. Но там у нее началась эпилепсия, когда она узнала о смерти мужа. А сейчас как? Держитесь друг за друга, хотя росли отдельно?

P.– Мы всегда держимся друг за друга. От своих приемных родителей я бегала к сестре.

У вас не было ни отца, ни матери. Как сложились отношения с собственными детьми? Пытались ли вы дать им ту любовь, которой сами были лишены?

P. – Не знаю, детей своих любили, но времени заниматься ими не было, приходилось работать. У меня есть внучка, вот ей я могу дать больше, на дочку времени не хватало.

Приду с работы, она уже спит. Утром встанем, мне надо по дому дела переделать. Дашь карандаш и книжку, рисуй, мне некогда. Такой был в доме порядок. Может быть, и не додали детям.



Возле гроба сестры Ливии. Сибирь, 1944 год

дети сибири 571



ИВАРС РУДЗИТИС

родился в 1931 году

В 1941 году мне было 10 лет. Жили мы в Риге. Отец был домовладелец, ему принадлежал ресторан на углу Тербатас и Элизабетес, мама воспитывала детей. Нас было четверо – старшая сестра Ливия, родилась в 1928 году, за нею я – в 1931 году, Скайдрите родилась в 1932 году и Рута – в 1934-м.

14 июня был солнечный, жаркий день, я болел корью. Когда нас вывозили, у меня температура была за 40 градусов. Меня в ту ночь разбудили последним. В комнате были трое, которые нас и арестовали, у двери стоял солдат с винтовкой. Среди пришедших нас арестовывать был наш дворник, офицер, который жил у нас, и еще кто-то, двое из них латыши, офицер был русский. Собирались в спешке, я взял со стола свой перочинный ножик, который мне очень нравился, еще спросил у мамы, можно ли взять. За нами приехали на легковой машине, все не умещались. Детей хотели увезти первыми, но мама не хотела с нами расставаться, решила, что сначала поедет папа с вещами. Так и получилось, папа уехал с вещами, мы без вещей, и больше мы их не видели, они так и остались у папы. На станции он был в другом поезде. На станции папа меня позвал, мы с мамой вышли. Но сели мы в другой поезд. Папа прислал нам большую коробку печенья «Лайма», его мы и ели всю дорогу, запивая водой. Вот и теперь, когда ем печенье «Лайма», в памяти всплывает происходившее. Таким было начало.

Отец уехал первый. Папа обнял маму и сунул ей в разрез блузки деньги – 3000 рублей. Не знаю, большие ли это были в то время деньги. Один из охраны это видел, но решил, что они просто прощаются. Папа ушел. Думали, что еще встретимся, не знали, что его уведут.

В Сибири деньги были не в цене. Ценились простыни – все вещи мы увязали в простыни. За одну простыню местные давали пуд муки. За счет них мы и питались. Село там было Тугачка, далеко в горах, ходили туда менять. Километров за 15.

В вагоне мы ехали на нижней полке. Помню, как в дороге из районов подвозили людей, места в вагоне не было, люди сидели на полу, даже возле ящика, который служил туалетом, головы людей были сантиметрах в 20 от туалета. В дороге были проблемы, я ведь болел корью, но до этого никому не было дела – сел в вагон, и уже считался здоровым. Но в дороге заболела и Ливия, мама ее прятала, потому что как только замечали, что ребенок болен, сразу же высаживали, и никто не знал, что с ним будет дальше. В вагоне была Розентале с маленьким ребенком. Наверху было открыто окно, и ее туда пустили, там было светло.

Точно не знаю, но, думаю, в пути были около месяца. Первый раз нас выпустили помыться за Уралом. Иногда давали томатный суп, напоминающий солянку, казался вкусным. Через дверь подавали воду. Иногда возле каких-то прудов выпускали, женщины с детьми радовались, ведь в вагонах мыться было нечем. Очень трудно было. Съели мы печенье, и из коробки Ливия сделала дневник. Писала она мелко-мелко, мама говорила, что интересно будет когда-нибудь почитать, но коробка не сохранилась.

Сначала нас привезли в Канск. Там отвели в

дом культуры, все сидели на полу, на своих тюках. И там происходило что-то наподобие суда. Чекисты сидели на сцене за столами, покрытыми красной тряпкой. На них были синие фуражки, вызывали всех подписаться.

Мы совсем обрусели, с сестрами я говорил только порусски. Приехали родственники, собрались гости, и за столом стали мы подтрунивать над латышским языком.

Мама тоже ходила и сказала, что подписалась – всех нас выслали в Сибирь навечно.

И стали приезжать из колхозов на быках и увозить людей. Нас было у мамы четверо, никто не хотел с нами возиться, и мы остались последними. Увезли нас дальше всех, посадили в ГАЗ и отвезли в Ирбею. Потом на лошадях еще дальше – в Кандалку. Третья Кандалка, четвертый барак. Там были лагеря. Нас завезли в лес, где стояли бараки. В них жило, вероятно, семь семей. У каждой семьи своя комнатушка. Такую же выделили и нам.

Там была эстонская деревня, домов на пять. Жили там эстонцы, которые уехали в Сибирь еще до Первой мировой войны. Дети даже русского языка как следует не знали. Они сказали, что согласны взять меня в пастухи, и мы ушли туда жить. Километров за шесть. Там только разводили скот, работы другой не было. Выделили нам заброшенный домишко. А со скотом там как... Коровы в Сибири маленькие, мохнатые, с длинными рогами. Вольно ходят по лесу, в обед и вечером приходят домой – доиться. Трудно мне было с ними. Коровы

заметили, что я не могу с ними управиться, и сразу же в лес, так что пастух из меня не получился. Эстонцы стали нас ругать, что скотину потеряли. Мы переволновались, ходили, искали. Не вышло из меня пастуха.

Весной 1942 года пробовали что-нибудь посадить. Пошел я помогать старым эстонкам забор ставить. Наломали веток, лопат не было, топоров не было, деревьев не было. А у меня ножичек был, стал я выстругивать деревянные фигурки, стоящее было дело. А у лесника эстонца сын был, он у меня ножик и выманил. Попросил дать поиграть, а потом сказал, что потерял. Но я-то видел, что он его взял. У нас не было ни лопаты, ни топора, не говоря уж о пиле. Если что-то надо было сделать, приходилось одалживаться у местных, а давали неохотно. В таких условиях люди делаются недобрыми, просто даже зверьми. Была там одна тетушка, единственная, которая когда-то жила в Эстонии. У нее была корова, она переселилась поближе к остальным эстонцам. Мне было 11 лет, я приходил к ней рыть погреб под домом, за это она давала мне простокваши, пил,



Иварс (в машине) в Латвии

дети Сибири 573

сколько хотел, это было вознаграждение за работу. Я и этому был рад, мама тоже радовалась, что я пью молоко. В первое лето мы на деньги, оставленные папой, каждый день покупали литр молока, по утрам каждый получал стакан. Когда деньги кончились, кончилось и молоко.

Недалеко от Саянских гор были лагеря, заключенные валили лес, и вот они стали убегать, грабили местных. Один такой зашел к нам, жил у мамы. Заколол он в селе свинью, попросил старшую сестру, чтобы пошла и обменяла мясо на картошку. Наелся, его понос прохватил, так как он давно не ел. В конторе узнали, что он у нас, пришли, потребовали у него документы. А показать ему нечего. Поехали они за винтовками, хотели расстрелять. И он тут же выздоровел, сказал маме: «Когда придут, скажи, что пошел в ту сторону», а сам направился в другую. Ну, те и опоздали...

Тогда эстонцы испугались, велели перейти нам в другой дом, где не было ни окон, ни плиты. А я в доме у этой старой тетушки посмотрел печку, она ее сама складывала. Ну, и я сложил из глины, мокрыми руками кирпичи формовал. Трубу делать не умел, согнул из жести трубу до дыры в потолке, на плите этой варили крапиву. Топили так: один клал в печку дрова, другой поливал трубу, чтобы не загорелось.

Потом решили попробовать есть лягушек. Поймали на лугу, мама голову ей отрезала; мясо вкусом напоминает рыбу, фактически съедобны только лапки. Головы мама зарывала, говорила, что ей кажется, что они на нее смотрят. Возле дома росла сухая рябина, ночью в ней ухала сова, мышей ловила. Выедала только внутренности, и мы варили этих мышей – мясо есть мясо. Ловила не каждую ночь, но нас пятерых, могла прокормить.

Вы и представить себе не можете, как мы завшивели! Одежды у нас не было, мне мама перешила папины брюки от свадебного костюма. Я сам чинил свою одежду — заплатка на заплатке и удивлялся, что одежда не изнашивается. Вши... потом начались нарывы. Не знаю, почему мама этого не сделала, но девочек надо было постричь наголо. На голове чирьи, волосы слиплись, а там вши... Это, вероятно, какая-то внутренняя болезнь, ничем их нельзя было вывести, даже жгли, и то не помогало. Каждое утро мама и старшая сестра сидели на крыльце и чистили друг другу волосы, и в это время мама рассказывала ей всю свою биографию. Подробно. Мы были маленькие, нас это не интересовало.

А почему она рассказывала? Не знаю, почему. Думаю, не случайно, она готовилась, понимала, что нас не вытянет, что ей с Ливией надо бы пойти в колхоз работать, а нас отдать в детский дом. Но насколько этот вариант был хорош, когда каждый месяц надо было ходить отмечаться в чека... Старшая сестра зимой ходила за 50 километров. Волки в это время спаривались, а она шла, несмотря на волков. Думаю, там она и застудила свои легкие.

Думаю, таким образом мама готовила нас к тому, что должна уйти. Не знаю, чем она болела. Она страшно кричала, лежала в постели и кричала. У нас еще из Латвии сохранился кусочек сахара, она его берегла на крайний случай, такой белый... Когда она его попросила, я понял, что с ней чтото случится. Так она лежала. Эстонцы, конечно, рассказали в конторе. Приехал старик, две лошади впряжены. Положили маму в упряжку, Ливия пошла с ней. Отвезли в районный центр, положили в больницу. Ливия вернулась, и мы ушли жить в барак, перезимовать мы могли только рядом с другими. Пришли жить к русским. И нам почти сразу же сказали, что мама умерла. Через некоторое время после ее смерти получили письмо, где она писала о своих планах, что будет делать, когда выйдет из больницы, но было уже поздно... Похоронена мама в Ирбее.

Зима была тяжелая. Жили в отдельной комнате в бараке. У нас всегда были какие-нибудь запасы. Была крупа. И там нас обокрали, все подчистили... Ходили в магазин за хлебом. Ходили туда, где русские выбрасывали остатки еды, ножичками выковыривали изо льда, ели. Местные смотрели, смотрели и стали хлопотать, чтобы нас увезли. Приехал один из леспромхоза, отвез нас на санях в районный центр. Посадил нас на диван в кабинете секретаря райкома, того не было на месте, а сам уехал. Когда вернулся секретарь, он отправил нас на постоялый двор, выдал талоны в столовую, и мы были спасены. Оттуда нас отвезли в Агулский дом инвалидов – детский дом нас не принял. Было там неплохо. Они заменили нам и отца, и мать. Я работал, ездил в лес, зимой нас послали в школу. Меня там чуть ли не на руках носили. Проблем с едой не было, инвалидов хорошо снабжали. Мы были спасены. Поэтому мне было плохо в Латвии – в школу не принимали, не знали, кто я. В Сибири меня хвалили, на руках носили, приехал в Латвию – у меня был шок.

Окончил я четыре класса. Первые два года не учился – не было школы, местные возили своих де-

тей в другое место. И языка не знал. Когда приехали в Агул, разрешили посещать школу. В Риге я окончил два класса, а там начал с 1-го класса, но так как я многое уже знал, за год прошел два класса. Я был первый в школе по истории, хотели меня перевести сразу в 4-й класс.

Как вы узнали, что детей везут в Латвию? Это в основном заслуга Лусе. Не знаю, куда она подевалась, памятник ей надо поставить. Учительница Лариса Федоровна Шукина, жена директора школы, была и моей учительницей. Когда сменился директор школы, она уехала в Красноярск, там работала. Знала про нас. Написала письмо, директор нас вызвал, спросил, не хотим ли уехать в Латвию. Нам было все равно – родственников здешних не знали, знали, что есть, но адресов не знали. Директор Делиньш разыскал наших родственников.

Один поезд пришел 7 декабря. Попали мы во Второй детский дом. Делиньш – его, кажется, потом осудили, – но он многое сделал для латышских детей. Был отцовский дом, все знали такого Рудзитиса. Забрали из детского дома нас в Новогоднюю ночь. В час ночи я был уже в ванной. На диване, на белых простынях, я почувствовал себя на седьмом небе. Квартира была коммунальная. С профессором Салиньшем, который написал книги о вековых деревьях, я жил в одной комнате.

А сестры?

Скайдрите взяла крестная. Младшую – ниже этажом в том же доме жил знакомый жены двоюродного брата – доцент или профессор Кундзиньш, лесовод, он взял ее к себе.

Ливия в Сибири умерла, забыл об этом сказать, надо вернуться. В 1944 году... Была очень талантливая девочка, в Латвии с нами не играла, все газеты читала. Мама водила ее к специалистам, чтобы те определили ее способности. Она в Сибири нами руководила, ходила в центр. По дороге, видно, и простудилась. Многие от туберкулеза умерли. Очень была распространенная болезнь. В 1944 году ей стало хуже. В школу ходить не могла, сразу поднималась температура. Иногда работала вместе с инвалидами - там было подсобное хозяйство. Она вообще ничего не могла делать. Летом 1944 года меня отправили в Саянские горы – там были самые лучшие пастбища, пас скот я один, от всех был отрезан, жил вместе со скотиной в хлеву. Приезжает однажды заместитель директора, говорит – Ливия хочет меня видеть. Что-то я почувствовал, первый раз в жизни пробежал эти 20 километров. Она уже умерла. Там же и похоронили. Когда закапывали, одна доска гроба проломилась, но могильщик, старый грузин, продолжал кидать землю как ни в чем не бывало. Я смастерил крест из осины, поставил загородку, посадил две елки. Там Ливия и лежит.

И все трое вернулись домой с дырками в легких, там мы все умерли бы, сначала я, потом сестры. У меня в Сибири было два приступа аппендицита. Люди от него часто умирали, врачей не было, не говоря уж об операциях.

В Риге врачи с улицы Мартас, очень хорошие врачи, отправили нас по блату в санаторий «Гауясличи». Там все знали, откуда мы, продлевали и продлевали сроки, и нас вылечили. У меня даже гдето записано, сколько я прибавлял за месяц. Вырос за месяц на 10 сантиметров. В Сибири мы не росли, низкорослые были. Когда тетушка взяла меня из детского дома, я прятался у нее под мышкой, а когда призвали меня в армию, она пряталась у меня под мышкой. Вылечили нас в санатории.

Когда вернулся, не мог привыкнуть к здешней жизни. Видите ли, там я по ночам пахал на быках. Пахали вдвоем – один впереди, второй за плугом. Я сам быков вырастил, садился на них верхом. Я очень люблю животных. Там я чувствовал себя взрослым, меня ценили, я хорошо учился, чувствовал, что я чего-то стою. Приехал сюда, а меня, во-первых, не принимают в школу, потому что я из Сибири. Приняли только в вечернюю основную. Тетя и двоюродный брат не хотели отпускать меня в вечернюю, говорили, надо учиться в дневной. А там ребята младше. Наконец устроили меня по блату в школу на углу Кришьяна Барона и Матиса, директором был там такой Озолиньш, рисковал, но принял. В школе я переменился. Там я был взрослый, а сюда привезли как ребенка. Мы совсем обрусели, с сестрами я говорил только по-русски. Приехали родственники, собрались гости, и за столом стали мы подтрунивать над латышским языком, мы уже были стопроцентные русские. Тетушка говорила: «Они у меня как волки». Прошло время, и все изменилось. В то время говорили, что фашисты ужасные, сейчас перестраиваться надо – коммунисты ужасные. Надо перестраиваться.

В 1949 году окончил 2-ю основную школу, мне уже было 18 лет. И снова по блату устроили меня в техникум на ВЭФе, директором там был Блуматс, уникальный человек, потом его с должности убрали. Он был знаком с крестной моей сестры, которая

дети сибири 575

взяла ее на воспитание. Она тоже была учительница. Окончил школу отличником, и приняли меня без экзаменов. С 7 утра до 12 надо было работать, потом до 16 часов учиться. И снова начались проблемы. Вместо Блуматса назначили такого Юршевица, противный был человек. Прозвище у него было «Конь». И начал он меня допрашивать. Двоюродный брат предупредил, чтобы я ничего не рассказывал о Сибири. А в те времена все начальники интересовались, первый вопрос у них был: «Где находился в немецкое время?» - «В России» -«Вывезли или сами уехали?» – «Вывезли» – «Ах, так вас вывезли!» – «Да, мы уехали». Так и не разобрался. Но был у него заместитель, такой Хакманис, латыш, тот оказался умнее. Положил меня на лопатки. Оказался умнее.

В армию не брали, вызывали в чека, допрашивали. Почему, не знаю, думаю, что это было связано со второй высылкой, когда снова отправляли детей, которые якобы вернулись незаконно. Допрашивали, расставляли ловушки. Сейчас задал вопрос в прокуратуре – за что меня выслали? Не ответили. Пришлось подписывать протокол «Допрос обвиняемого». В чем меня обвиняли? Надо было две бумаги подписать, одна – если я проболтаюсь, мне грозит три года, вторая - если хоть слово совру, тоже грозит три года. И начался допрос. В углу сидит следователь, за моей спиной – конвойный. Брат предупреждал, чтобы не упоминал о Сибири. А я решил – расскажу все, пусть делают со мной, что хотят. Самый главный вопрос - социальное происхождение. Чекист вскочил, спрашивает: «Женат?» – «Не женат». – «Что, не стоит?» и давай смеяться. Отсмеялся и серьезно: «Социальное происхождение?». Из капиталистов, говорю. И допрос закончился. На этом и хотели меня поймать. Соври я, мне бы не сдобровать. Они и так все обо мне знали. Когда выводили меня, он спросил: «Где старшая сестра?». Все ему было известно, просто подловить хотели. Охранник у дверей еще посмеялся: «Проскочил?»

Вторая высылка вас не затронула?

Нет, выслали один раз. Допрашивали меня осенью 1951 года. Может быть, Мартинсонс из военкомата, которому я тоже морочил голову насчет Сибири, может быть, он на меня чека наслал. В армию меня не взяли, и я переживал. Всех приятелей, всех друзей взяли, меня нет. Воспринял это, как дискриминацию. А когда призвали, пошел с большой радостью, понял, что преследовать меня перестали.

Непросто это, когда тебя считают каким-то... Сейчас, возможно, все было бы по-другому, а тогда переживал. Друга моего на семь лет отправили моряком, для меня это было бы идеально, но не отправили. Зимой 1952 года призвали и направили в стройбат, в каменоломни.

Вернулся из армии, но легче не стало. Всю жизнь преследовали. Работу найти было трудно. Так и не выяснил, был ли в паспорте какой-то шифр. Вроде бы договорился, специальности у меня не было, считался чернорабочим, сколько я там на ВЭФе отработал, но когда показал паспорт, ответили: «Не надо!».

И опять через знакомых устроился на ВЭФ – в инструментальный цех, где проработал 40 лет. В клубе познакомился с женушкой. Потом заочно окончил Политехнический институт, хотел писать кандидатскую, но мне четко дали понять – не в свои сани не садись!

Прошлое преследовало меня вплоть до перестройки. Работал на ВЭФе инженером, надо было заполнить анкету. В последние годы уже не было графы: «Находился ли на территории, временно оккупированной немцами?». Это писали после войны, а теперь появилась интересная графа: «Где похоронены родители?». Написал: «Не знаю». В графе «Социальное происхождение» написал: «Из капиталистов». Увольнения я не боялся, на ВЭФе меня ценили как специалиста. Вызвали меня тут же и бросили назад анкету: «У нас же таких людей нет!». Говорю: «Что же мне, врать?» Это был последний раз, когда я это почувствовал.

Отец и мать... они перед моими глазами как боги, как идеал. Не знаю, что было бы, останься они в живых. Они были старые, отец родился в 1879 году, мама была на 15 лет моложе – родилась в 1894-м. Я их вспоминаю каждое утро, когда выхожу на пробежку в лес – там у меня есть святые места.

Сколько у вас детей?

Одна дочка.

Внуков?

Двое. Я их очень люблю, они мне даже ближе. В них весь смысл моей жизни.

Вот, рассказал вам. Но многим я не хочу рассказывать, их это не интересует.

А перед отцом, матерью и сестрой, которые не вернулись, я испытываю чувство долга. Сестра еще могла бы жить... Они хотели бы, чтобы я рассказал. И я исполняю свой долг.

ИНТА РУКА (ПРАУЛИНЯ)

родилась в 1925 году



Когда моего отца Алфредса Рукса в 1941 году уволили с работы со словами: «Теперь можете к Улманису идти пасти свиней!», мне, подростку, пришлось идти работать. Весна 1941 года была холодная, сирень и тюльпаны только-только начали цвести, когда 14 июня начался страдный путь нашего народа. Был первый жаркий день. Около девяти утра я обслуживала рабочих в доме отдыха в Майори, и тут молча подошел ко мне чекист и отвел в грузовую машину, где ждали меня два охранника с винтовками, поблескивавшими штыками. Думала, что меня арестовали вместе с одноклассниками, но на станции Торнякалнс, куда меня привезли, увидела людей с узлами. Их охраняли чекисты. И тут я испугалась. По узкой дощечке ввели меня в вагон, втолкнули в полную темень. После первого замешательства, когда я услышала мамин голос, я стала понимать, что происходит. На верхних нарах сидели обе моих сестры: 17-летняя Зента и 24-летняя Аусма. В вагоне царила тишина, люди между собой знакомы не были. И каково же было мое удивление, когда рядом я увидела одну из самых богатых дам Латвии, госпожу Беньямин. С интересом принялась рассматривать ее красивое шелковое платье, пуховое одеяло, кольцо на пальце, нижнее белье. После долгих размышлений госпожа Беньямин спустилась вниз, к предсказателю Финку – тот сидел возле двери – узнать свою судьбу. На Финке была шуба, а под мышкой пара валенок.

Из вагона вывели всех мужчин и женщин, подлежащих суду. Постепенно разговорились. Всех мучила неизвестность. Вначале вели себя, как испуганные овцы, попавшие в загон. Но когда, наконец, дали знать о себе все

человеческие потребности, люди стали помогать друг другу, кто чем мог. Самым страшным унижением я считаю, что нас вынудили справлять свои естественные потребности на глазах у остальных. Сопровождавшие с нами не разговаривали, и все-таки доктор Гулбе попросила принести лекарства. Помню, это были капли, кальцекс и йод. Через всю Сибирь пронесла я добрый совет госпожи Лабренце: у нас есть руки, мы можем работать. В этот момент и в голову не могло прийти, что руки эти на сибирском морозе станут беспомощными...

Поезд двигался на восток, и люди стали плакать, даже кричать от душевной боли. Перед глазами до сих пор каменный пограничный столб. Первое, что я увидела сквозь крохотное зарешеченное окошко, – серую избу без крыши.

Ночью размышляла над тем, с чем горше всего было расставаться, – мой дорогой отец, красавица Рига и школьные друзья. Еще не испытала ни унижений, ни голода, ни холода. Еще теплился лучик надежды – нас привезут обратно.

Двери вагона чуть приоткрылись, и стали видны идущие навстречу эшелоны с солдатами и военной техникой. Была надежда, что нас еще освободят, все равно кто – англичане или японцы. Урал подсказал, что ждет нас Сибирь. Трудности в пути все нарастали – люди не взяли с собой самого необходимого. Не у всех были чашки, иголки, нитки, бумага... Доктор, госпожа Столыгво, была в одной

ночной рубашке – ее сорвали прямо из постели, она собирала вещи своей двухлетней дочери и семилетнего мальчика, а о себе забыла.

Пришлось столкнуться со многими странными и неприемлемыми

В 1942 году в Янову ночь нас высадили в Игарке. Там был полярный день, солнце за горизонт не пряталось.

вещами. До конечной станции – Канска – невозможно было помыться. Не было молока для младенцев. Начали думать о том, что пора менять оставшийся хлеб на продукты, которые на капустных листьях приносили на станцию местные жители. Надо было есть пищу, в происхождении которой мы сомневались. Вместе с солено-горькими буханками черного хлеба охрана приносила в вагон пшенную кашу или несъедобный суп.

Самое приемлемое были кипяток и черный хлеб. Измученных, исхудавших нас выпустили в Канске и поселили в ангарах пожарного депо. На следующий день приехали возницы, которые должны были доставить вновь прибывшую рабочую силу в колхозы и совхозы. Нас отвезли в село Ношино Абанского района, в совхоз «Мачино». И хотя лето было в самом разгаре, вокруг были серые избы, серые лица, серая одежда. Работали в поле. Наши женщины в своих шелковых и ярких ситцевых платьях работали очень старательно. Удивляло все, что делалось вокруг. Все сравнивали с тем, что видели на Родине. Мы дома, в Латвии, любили животных, а здесь их били, ругали последними словами, выбитый глаз, гниющие раны – и у собак, и у лошадей.

С первыми морозами нас поселили в дома к русским семьям. На работу не ходили – не было зимней обуви. Ссылка запомнилась и как время, когда из ничего надо было создать что-то. Делали деревянные спицы, из технической ваты пряли нитки, вязали длинные, ватные чулки. Воду носили из речки, из лесу носили дрова, а валенок не было.

Сестрам с помощью конвоя удалось увязать в узлы постельное белье, какие-то ткани, и наша семья имела возможность путем обмена достать какие-то продукты. Помню, отдавали двух гусей за одну простыню! Так жили все, кому удалось что-то захватить с собой. Но как выжили женщины, у которых с собой были только книжка и зонтик?!

В начале июня 1942 года несколько барж с рабами отплыли из Красноярска по Енисею на Крайний Север. Были среди них люди разных национальностей, в том числе карельские финны, поволжские немцы. Как долго продлится наш путь, где он завершится, мы не знали. Никто ведь не думал, что из этой поездки не вернется. Госучреждения решили использовать эту рабочую силу на лове, обработке и переработке рыбы, но нам об этом не говорили. Плыли мы на лихтере № 815.

Нас объял ужас, когда ночью конвой пристал к берегу и вынес мертвого человека. Многие кашляли, у многих был понос. Но в юности отношение ко всему происходящему иное, чем у поживших людей. Пели наши печальные народные песни и уносились мыслями домой... Когда в темноте раздались робкие звуки аккордеона, перешедшие в популярную в Риге в последнее время танцевальную мелодию, молодежь принялась танцевать свинг. Старшее поколение отнеслось к этому неприязненно. Но одетые в тряпье, немытые юноши и девушки искали дружбы. Незабываемый момент – в черной ночи посреди Енисея из-за аварии встретились два парохода с рабами. Госпожа Арая запела «О Родине песня печально звучит». Столпившиеся на палубе люди пели и плакали, и песня объединяла и вселяла надежду.

В 1942 году в Янову ночь нас высадили в Игарке. Там был полярный день, солнце за горизонт не пряталось. Согласно санитарным нормам, надо было пройти карантин, и нас разместили в побеленных бараках. После долгого пути мы смогли вымыться в притоке Енисея. Госпожа Свенне собрала нас вокруг костра: «У нас вечер Лиго, надо отпраздновать», но народные песни звучали только печальные.

Как один из самых бесчеловечных трудовых этапов вспоминаю заготовку дров. Впрягли нас по двое, словно лошадей, в длинные дровни, и в полярную ночь, по морозу и бездорожью приходилось идти в ближайший лесок за дровами, чтобы заготовить дрова для цеха. Были мы вдвоем с Аустрой Гулбе, два голодных подростка в самодельной обуви, в продуваемой насквозь одежде, в жалких рукавицах — норму выполнить не могли. Пила и топор тупые, да и сил не было. Удачей надо считать, что в декабре 1942 года меня определили работать в цех — у строгального станка и дисковой пилы. Нелегко было поднимать тяжелые, необработанные доски, но я, по крайней мере, была в тепле.

В Латвии я окончила три класса коммерческой школы Олавса, знала, что такое бухгалтерия, и взяли меня в контору учетчицей. Той осенью сбежал главный бухгалтер, и мне пришлось приводить в порядок документы, составлять годовой отчет, осваивать русский письменный. Работа в бухгалтерии продолжалась вплоть до лета 1947 года, до того дня, когда я уезжала в Ригу. В то время я была исполняющей обязанности главного бухгалтера предприятия. Это давало возможность летать в Красноярск, в

Дудинку и Норильск. Поездки эти давали надежду вернуться домой.

Ночью 1944 года я была на работе, и вдруг в репродукторе зазвучало «Боже, благослови Латвию!». И хотя война еще не кончилась, я отправила папиной сестре Алме письмо с нашим адресом. На Рождество пришло первое авиаписьмо из Латвии. Слезы радости в неволе были слаще хлеба... Разве можно описать аромат цветка? Точно так же невозможно описать тоску по Родине, ее может каждый только почувствовать.

В 1946 году детей ссыльных стали увозить в Латвию. Уехали дети и из Игарки, мы так радовались за них. Нам, оставшимся, тоже выдали паспорта, но только тем, кому в день высылки не исполнилось еще 16 лет. Мечта начала сбываться... Я взялась привезти в Ригу 13-летнего Иварса Кантсонскиса, но трест меня не отпустил и отправил обратно в Игарку. Но мне все же удалось уговорить начальство, и начался долгожданный путь домой.

Был конец августа, Рига встретила нас хмурым туманным утром, меня встречала тетя Алма и друзья с охапками осенних цветов. Дорога домой по окутанной туманом Риге осталась в памяти навсегда.

Разрушенная Рига, школьные друзья – кто-то из них погиб на войне, кто-то уехал за границу или укрылся в лесах, – все это побуждало думать о судьбе народа... Ну, а мне что сейчас делать? Прежде всего, поехала в деревню. Земледельцы сражались в непомерными налогами, и мои руки там могли пригодиться. Но не давало покоя незаконченное образование. Надо было продолжать. Уговорили меня поступить в 3-ю Рижскую среднюю школу, где до войны училась сестра Зента. После семилетнего перерыва надо было сильно постараться, чтобы оказаться среди лучших. В 1949 году окончила школу с медалью и хотела учиться дальше, но документы, которые подала на химический факультет Университета, мне вернули, однако, когда я показала свидетельство о смерти отца и диплом, который давал

мне право поступить в вуз без экзаменов, меня приняли. Так я стала студенткой.

В 1949 году начали высылать в Сибирь второй раз, чемодан с вещами я все время держала наготове, а ночь 25 марта провела на улице. Зачем мне скрываться, если учусь в институте? Играю в сборной республики по волейболу. И вот 18 марта 1953 года офицер НКВД посадил меня в «бобик» и все дорогу успокаивал, что все будет нормально, что надо ехать к маме, в Игарку. Меня и раньше неоднократно вызывали на допрос, спрашивали, где находится моя сестра Зента. Она убежала в Латвию в начале 1948 года, получила паспорт и работала в разных леспромхозах.

И снова начался мой путь в Сибирь из пересыльного пункта Центральной тюрьмы вместе с уголовниками. На сей раз все было иначе. Я знала русский язык, была студенткой 4-го курса, с собой у меня была логарифмическая линейка, зимнее пальто и лыжные сапоги. Конечно, у меня не было будущего, но утешало, что я увижу мать и сестру. На пересылках в Кирове, Свердловске, Новосибирске и Красноярске пережить пришлось немало. Не забуду тот день, когда нас гнали строем и охраняли штыками. Эстонская мать держала в одной руке малыша, во второй у нее был чемодан, а трехлетний малыш ни за что не хотел идти в строю. Конвоир принялся его толкать и бить прикладом. Я не выдержала и закричала, чтобы взял мальчика на плечо, что ребенок не может идти. Какие там права маленького человека? Унижений пришлось вытерпеть немало. Я решила любой ценой остаться в Красноярске, чтобы завершить образование. Судьба оказалась благосклонной к нам с Зентой, и мы устроились работать в строительный трест. Вечерами тренировала и сама играла в волейбол.

В Латвию вернулась 11 августа 1955 года.

Мне сейчас за восемьдесят, и хочу повторить слова Андрейса Эглитиса:

«Своей боли давно уже нет,

Есть только боль народа».

Пережитое вспоминаю часто.

дети Сибири 579



МАРИЯ РУМБА (КРУМИНЯ)

родилась в 1940 году

О самых первых днях у меня почти нет воспоминаний, только то, что рассказывали другие. Трагичной была сама по себе высылка и дорога к месту поселения. Нам то ли повезло, то ли нет – наш вагон был единственный, в котором мужчины ехали вместе с семьями, и нашим мамам было легче, чем другим. В это время мама еще кормила меня грудью. Когда вывезли, никто не знал, куда везут, надолго ли везут, какие вещи брать... Конечно, и запасов продуктов в доме не было, так что много и не взяли. В этот день к нам пришла мамина сестра, присмотреть за мной, так как родители должны были пойти на выпускной вечер к сыну брата в Саулайнский техникум. И когда приехала «Черная Берта», мамина сестра фактически собрала все, что можно было найти на полках для меня. И свечки положила. Когда привезли в вагон, меня взяла мама Инесы, была такая госпожа Петерсоне с Майей – Майе было от роду две недели. Мама госпожи Петерсоне сама вызвалась ехать, знала, что дочери там придется нелегко. Муж ее был летчик Петерсонс. Ехали мы в одном вагоне. Моя мама два раза в день кормила и Майю, так как у госпожи Петерсоне не было молока, на свечке варила мне кашу. Дорога была трудная – ехали 18 дней. Когда прибыли на место, Майя была первым ребенком, который умер. А так как мой отец был священник, на его долю выпало ее проводить. В колхозе, куда мы попали, кладбища в нашем понимании не было. Степь, поля. Оттуда и впечатление, что если русские

хоронят, то могилу обязательно обносят металлическим забором – ведь там же паслись коровы, овцы... Было лето, и все латыши провожали Майю – для всех это было как паломничество.

Мужчин с семьями разлучили, отправили в лагерь. А мама, как это ни удивительно, справлялась с нами и еще ухитрялась доставать продукты, чтобы отправить мужьям.

Госпожа Петерсоне одной из первых получила известие о том, что ее муж в лагере погиб. Некоторое время мы с ней жили в совхозе в одной комнате, потом в поселке, где был консервный завод. Завод впоследствии перевели в Канск, мы остались в поселке. Петерсоне потеряла там всех своих близких.

Школа — как у всех живших в России детей. Не могу сказать, что среди детей была какая-то ненависть. Скорее, навязываемая, что мы, мол, фашисты, нам нельзя доверять. В конце войны одни радовались, другие нет. В школьные годы никаких репрессий со стороны ребят не испытала. Возможно потому, что у меня был старший брат, и если ко мне кто-то приставал или обзывал меня, я отвечала, что сами они фашисты, раз не признают никого, кроме русских. И мы быстро приходили к согласию... Говорила, что брат за меня заступится. Этого было достаточно.

В школу пошла в 1948 году. Учителя, партийные или вернувшиеся с войны, были настроены против нас. Они считали, что дети ссыльных вообще не могут ничего хорошо знать – ни историю, ни конституцию, ни другие предметы. Были и среди учителей ссыльные – такой была моя учительница русского языка, учитель физики. Они относились совсем иначе, следили, чтобы мы хорошо учились. Понимали, что если мы сумеем пробиться, то только благодаря знаниям. Когда старшие поехали учиться

в Красноярск, их под конвоем вели сдавать экзамены. И если поступал, то не имел права приехать в гости даже на праздники. Приезжали тайком, потому что надо было ходить регистрироваться. Там я окончила

В Сибири я провела
13 лет. Иногда
я шутя говорю,
что мой рабочий
стаж — 79 лет, так
как проведенный
в Сибири год
считается за три.

шесть классов. В 1953 году, после смерти Сталина, наши оставшиеся в живых родители стали надеяться, что когда-нибудь сумеют вернуться в Латвию. В 1954 году детям стали выдавать настоящие паспорта, и мы вместе с Инесой поехали — она повезла меня в Ригу. Я выросла в поселке, Рига для меня была большим и чужим городом. Мамы отпустили нас, двух девочек 16-ти и 13-ти лет, одних, с пересадкой в Москве... Нашлись хорошие люди, те самые проводницы, которые за нами в дороге приглядывали. Поездка была интересной.

В Сибири лето было жаркое, зима холодная. К латвийскому климату не смогла привыкнуть. Там были стремительные горные реки, здесь не могла привыкнуть к морю. Жили мы там в предгорьях Саян. Вокруг степь, природа не очень красивая, но росший там кустарник спасал наше здоровье и жизнь. Рос там и дикий лук, и чеснок – черемша. Ходили пасти скот. Летом мясо не ели – обходились тем, что росло в поле.

Черная и красная смородина. Ягоды никто не убирал. Ягоды черемухи сочные, вкусные. Были грибы, большие, мясистые.

Помню малярию. Врачи, которые были с нами, ничего о малярии не слышали, это были стоматологи, еще кто-то, но не инфекционисты. Поблизости были болота, малярийные комары. И полуголодные люди тяжело болели. Болел и брат. Год пропустил только потому, что у него были постоянные приступы лихорадки. У мамы приступы случались каждый третий день. Местные калмыки видели, как мы мучаемся, советовали искать хинин, только тогда и можно было начать лечение. И мама прошла двадцать шесть километров до Канска и двадцать шесть обратно, только чтобы достать лекарство.

Ребенок, я ничего не знала, ничего не слышала... Если честно, должна сказать спасибо маме и Инесиной маме – я не слышала от них ни одной жалобы, что что-то потеряно, ни слова о пережитом. Помню лишь, как однажды мама посетовала, что «жалко, не съеденных в латвийское время пирожных»... Слава Богу, мы вернулись, сначала я, через год брат, через полтора года мама. Жить мы стали у маминой сестры.

В Сибири я провела 13 лет. Иногда я шутя говорю, что мой рабочий стаж – 79 лет, так как проведенный в Сибири год считается за три.

Папа погиб при очень тяжелых обстоятельствах. Он был молодой здоровый мужчина, и в каждом письме писал маме, как им нелегко – что они голо-



Мария с мамой Идой

дают. Я понимаю, такова была политика государства: их – молодых, сильных, способных – надо было просто уничтожить. В лагере – лютый холод, голод, инфекции... Мама посылала мороженые овощи. Очень часто адресат и этого не получал, не говоря уж об одежде, шерстяных носках. Обе мамы – моя и Инесы – ездили в лагерь, с мужьями, конечно, увидеться не удалось. Была и малярия. Папа писал, что выучил литовский язык. Отец знал около девяти языков. Маме удалось сохранить письма отца. Когда нас высылали, мы русского языка не знали. Отец знал, писал нам, чтобы и мы учили. Сам он во время Первой мировой войны был в эвакуации и окончил школу в Пятигорске. Еще он писал, чтобы мама нашла себе подходящую работу, так как она раньше работала бухгалтером. В колхозе выжить было невозможно. И благодаря госпоже Петерсоне мы перебрались в совхоз. Когда у мамы начинались припадки малярии, она всегда говорила: я знаю, теперь мы не умрем. Это потому что в совхозе давали в день 200 граммов хлеба. В 1944 году мы переехали в рабочий поселок, там она пошла работать бухгалтером. К тому времени отца уже не было в живых. А до этого они морально друг друга поддерживали – в письмах...

В 1989 году я побывала в Англии. Папа с мамой воспитали обоих сыновей брата. Младший погиб во время войны, старший окончил в Латвии институт, но был призван в легион и отправлен в лагеря. Потом перебрался в Англию. Он пригласил меня в гости. Там, за границей, была издана книга о высланных и против моей фамилии стояло: «Умерла

дети Сибири 581

по дороге в Сибирь...» Странное чувство возникло... очень мало детей до года выжило.

Десять лет назад доктор Алкс собирал сведения о геноциде против латышских детей. Он получил сведения, что в возрасте до года было выслано 294 ребенка, а всего – до 16 лет – более 3600 детей. Я спросила у него – зачем ему эти цифры? Он ответил – для доклада на 3-м съезде врачей, а потом добавил: «Спасибо, вы четвертая выжившая, кто откликнулся из высланных до года».

Я приехала в Латвию, было интересно. Я и не думала вначале, что останусь, мы с Инесе ехали только в гости к родным. Я жила у маминой сестры, там была и двоюродная сестра. Дядя Янис сказал, что и речи не может быть о возвращении, латышские девочки должны учиться в латышской школе. Интересно, что 14 июня нас увезли и 14 июня я вернулась. Тетя стала подыскивать школу. Сестра двоюродная училась в 3-й школе, но директор Душкина сказала: «Такие дети нам не нужны!». Все школы обошла, но везде «такие дети были не нужны». Наконец добрались до 49-й школы. Там был очень спокойный директор,

Ансбергс, поговорил со мной, с тетей. Вызвал учительницу Ошкалне, и когда та пришла, то просто застыла в дверях: я была очень похожа на отца, а они вместе учились в учительском институте. Она положила мне руку на плечо и сказала: «Это моя девочка, она будет знать латышский!». За лето я выучила язык и пошла в 7-й класс. Я окончила 49-ю среднюю школу.

При поступлении в институт надо было писать биографию. Я мечтала стать геологом, но когда я окончила школу, факультета геологии в университете уже не было. Мама болела, я никуда уезжать не хотела, и пошла по медицинской линии. Снова надо было писать биографию, и я прямо спросила — писать ли мне о Сибири? Это был 1959 год, времена Берклавса... Спросили меня только, «активная» ли я. Сказала, что нет. И я написала, что в 1948 году поступила в школу, в 1959-м окончила. Вот и вся биография. Меня приняли. Окончила институт в 1965 году и уехала работать в Кандаву. Отработала три с половиной года, а во время учебы работала медсестрой в 1-й городской больнице. Вернулась в Ригу, я была к тому времени уже замужем, у меня два сына, а сейчас я уже и бабушка.

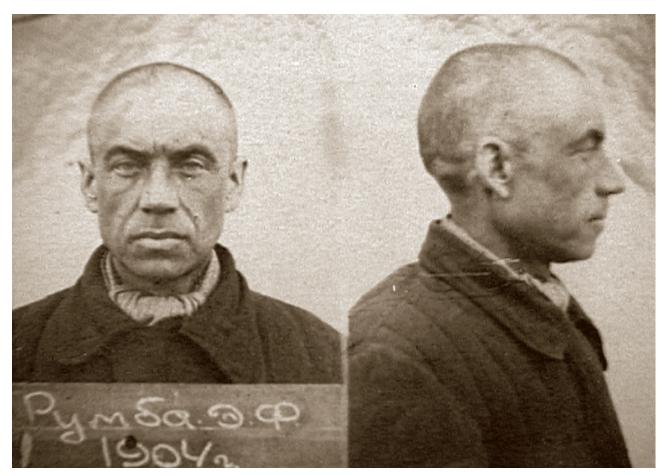


Отец Марии Эдгарс и мать Ида

Лечила глазные болезни, всю жизнь проработала окулистом, в основном в детской больнице. Дети и путешествия мне нравятся, о путешествии, конечно, позаботилась советская власть, но сейчас я предпочитаю смотреть на мир с другой стороны, не из Сибири (смеется)... Ни к Сибири, к природе, к людям у меня претензий нет. С детьми сплавлялись по рекам Урала, были на Алтае, увлекались горным туризмом. Сибирь с малых лет приучила к самостоятельности, приучила рассчитывать только на свои силы.

Мне не раз дети Сибири рассказывали, что им казалось, что их умерший отец или бабушка стоят рядом и помогают в решающую минуту... И у меня такое было – в решающую минут рядом стоял отец. Было такое странное время, когда училась в институте. Это был 1959 год. Это было время Берклавса, но тогда и его сняли, забрали, увезли. На моем курсе не было русского потока. Позже, на 3-м курсе открыли, набрали туда детей военных, приехавших из России, из Алма-Аты, которых сюда специально внедряли... В это время в какой-то группе был «ос-

ведомитель». А я вообще ничего не боялась, прямо высказывалась, характер такой, в партии не была, не опасалась, что мне за это нагорит. Это было хорошо, меня принимали такой, какая я была. На 2-м курсе у нас был прекрасный преподаватель анатомии. И как-то на коллоквиуме он открыл толковый словарь, где была статья моего отца на религиозную тему. И снимок отца. Смотрит на фотографию и на меня, спрашивает – не мой ли это родственник. Вскочила и отрапортовала: «Это мой отец, и мне нечего его стыдиться!». Захлопнула книгу и вышла из аудитории. Думала – все, вылечу из института. Но – нет. Он меня и раньше спрашивал, отчего это я прячусь за спинами. Отвечала – хочу спать, ночью подрабатываю. Стипендия была 22 рубля, а в 1-й больнице были такие индивидуальные посты – всю ночь сидишь с больным, тебе за это платят пять рублей. Каждую неделю была в больнице, за месяц зарабатывала еще одну стипендию. После чего он сказал: «Кончай эти ночные дежурства, курс серьезный, надо заниматься, а тебе я найду учеников». Так папа мне помог. Кажется, что и сейчас родители рядом.



Отец в заключении



ХЕРМИНЕ РУНЬГЕВИЦА

родилась в 1930 году

Наши родители умерли в один и тот же год... мама в Сибири, отец где-то в России. Брат нарисовал отцовский дом, и деревца тянутся друг к другу, но не соединяются... И надо всем черные тучи, которые и на самом деле собрались над нашей родиной...

Я все помню, но рассказать об этом непросто... Главное – мы потеряли отца. Так всегда бывает – мальчики с мамой, у меня два брата, я с отцом... сижу у него на коленях. Я когда-то рассказывала, но никто этого не понимает... никто не сочувствует, все эти годы никому не рассказывала. Теперь об этом говорить можно смело. Всю жизнь я проработала на одном месте, 42 года... Людей не брали на работу просто потому, что они были в Сибири... Тот, кто такое не пережил, понять это не может...

Место, где я провела детство, называется Лабрагс, иностранцам нравится, так как здесь осталось все, как было. Раньше здесь была запретная зона, до Готланда 188 километров, ближе, чем до Риги, все время были здесь русские пограничники, они распахали все дороги, и красивую дорогу от Лиепаи до Вентспилса, только от Павилосты до Вентспилса чуть подправили...

Я родилась в Лабрагсе Улмальской волости... раньше это был Лиепайский район, теперь Вентспилсский. Наш дом как раз на границе... место красивое, крутые берега. Я пошла в школу в Улмале, школа была на берегу моря, в немецкое время

ее сожгли. И в те страшные времена, и в России я все время вспоминала море... я и сейчас его постоянно фотографирую...

Брат на год меня старше, но учились мы в одном классе... ходили за четыре километра, зимой отец возил нас на санях, весной и летом ездили на велоси-

педах. Окончили 3-й класс. Помню, что в Лабрагсе в лесу у моря было полно русских войск. Из той школы я и сейчас помню несколько слов: «Позвольте, пожалуйста, выйти во двор!» Но потом это был уже другой русский язык, уже без «позвольте»... это уже не был красивый язык...

В воскресенье собирались вести меня к причастию. Ночью в комнате, где спали отец и мама, послышался шум, мама вошла и сказала: «Дети, попрощайтесь с папой!», но тут кто-то вошел и сказал, что едет вся семья. На сердце стало легче, раз все вместе поедем...

Приказали за час собраться, сказали, что увезут недалеко, на Украину, что ли, потому что папа сказал маме: «Не волнуйся, там столько яблоневых садов, там красиво». На лошади отвезли нас к соседям, там уже был народ из Юркалне. Погрузили всех в грузовик и отвезли в Упеское имение, забрали оттуда учительницу Тетере с сыном, где был ее муж, не знаю. Отвезли в Калвене, на станции была тьма народа, стоял длинный состав с товарными вагонами. В вагонах были полки наверху и внизу, и я сразу же забралась наверх к окошку, чтобы увидеть, куда нас повезут. В вагоне было полно вещей. Папу у нас отобрали, сказали, что встретимся, когда доедем до конца; у него был шестнадцатый номер. Помню, что в Елгаве нас страшно толкали, потом уж мы поняли, что вагоны с мужчинами отцепили именно в Елгаве, так как папиного вагона в эшелоне больше не было, а выйти мы не могли, так как у двери стоял солдат с

винтовкой...

Помню огромные деревянные ворота, где кончалась Латвия и начиналась Россия. Никто не понимал, куда едем, поезд несся на большой скорости. Перед Уралом всех

Аюдей не брали на работу просто потому, что они были в Сибири... Тот, кто такое не пережил, понять это не может...

выпустили на берегу лесного озерца, можно было умыться, потом снова затолкали в вагон и долго ехали до Красноярска. Еды из дома мы не захватили, питались водой и хлебом, который мы называли сталинским пирожным. Одного человека можно было из вагона выпустить – за водой.

В Красноярске вышли, народу была тьма... Но куда нас привезли, мы не знали. Разместили в школе, было лето, людей много, туалетов не было. Там я заболела. Приехали крестьяне на больших дрогах. Идти я не могла, меня везли. Помню – где-то меня с телеги сняли, чтобы я отдохнула... Помню еще, что въезжали на крутую гору. Привезли в деревню и поселили в колхозной конторе. Помог мне ветеринар, других докторов не было, принес какие-то пилюли... Мне стало лучше, а мама уже думала, что я не поднимусь...

Место это называлось Новопокровка, там уже было несколько латышских семей, позже привезли немцев. Пошли в школу. Мы ничего не понимали, но русский язык выучили быстро, через какое-то время нас перевели во 2-й класс. В школе меня звали Гермина... так-то вот.

Начальником в селе был цыган, очень отзывчивый человек... в селе строились два дома, в один поселили нас всех, потом немцев переселили во второй дом.

Маму и остальных отправили заготавливать и сушить чурки, ими топили котлы машин. Так прошли лето и зима... Зимой снега было очень много, но он подтаивал и снова замерзал, ходить можно было как по асфальту, забираться на заснеженные горы. Собирали смолу лиственниц, это была наша жвачка, казалась в то время вкусной, была разноцветная.

Летом 1942 года нас снова увезли, в селе осталась только тетенька из Юркалне, госпожа Энгеле... Привезли на берег Енисея, и месяц мы жили под открытым небом. Людей было много, посадили на пароходы и повезли дальше на север. Людей в дороге высаживали, нас выкинули в точке Лебедево, недалеко от Полярного круга, где девять месяцев зима, трудная и очень лютая. Лето там жаркое, летом все местные ходили в сетках, у нас сеток не было... не могу дальше говорить, жизнь в Лебедево была очень тяжелая...

И в Лебедево мы ходили в школу, в поселке было, кажется, 28 домов. Надо было драть кору с деревьев, из нее вили веревки и сушили. Иногда приходилось косить сено. Лугов не было, росла картошка, рос турнепс. Земли было очень мало, вокруг один лес...

Каждый день давали нам 300 граммов хлеба, больше ничего. Мы ходили по ягоды, собирали грибы, из грибов варили кашу. Жили в комнатушке без окон, когда-то там был навес для бочек, ни плиты не было, ни печки. Жил с нами и финн Кукконен с дочкой Саймой, в комнате нас было 18 человек, спали на досках. Волосы у меня были длинные, коса примерзала.. Ветры там страшные, протягивали веревку, чтобы можно было идти. Дорог не было, зимой было ужасно.

Школа была, работала там учительница из Петербурга. Жилось трудно, свой сахар съедать не могли, продавали, чтобы выкупить хлеб. Многие болели, была и учительница из Латвии, она умерла, у нее очень болела свекровь, и мама за ней ухаживала и сама заболела... мамочка ушла... не могу рассказывать – слишком тяжело. Прожили мы там восемь месяцев, голодали. Когда еще мама была жива, достала у местных ведро, отправила нас за грибами, чтобы засолить, так у нас были и грибы, и хлеб. Никто о нас не заботился. Через девять месяцев депутат поселка связалась с Туруханском, это еще севернее, там был детский дом. Посадили нас на пароходик «Мария Ульянова», и мы оказались в детском доме.

Я еще в Лебедево стала вести дневник, и чернилами писала, и карандашом, написанное молоком можно было подержать над свечкой и прочесть... Мне тогда уже было 13 лет... по-детски все... Брат увлекался рисованием, и когда вернулись в Латвию, окончил Академию художеств.

Когда везли нас пароходом, мы там сидели на полу. Возле Туруханска в Енисей впадает Каменная Тунгуска, и пароход там сломался, а еще был лед, и мы три дня просидели там голодные. Потом из детского дома прислали за нами лодку, высадили на берег. В детском доме стало немного легче, мы продолжали ходить в школу, учителя были хорошие, были учителя и немцы, помню учительницу литературы Трайзе... Я никак не могла выучить стихотворение «Зимняя дорога», но все-таки выучила, и оно же мне попалось на экзамене...

В Туруханске младший братишка снова заболел, ни дышать не мог, ни разговаривать. Завернули мы его с братом в одеяло, отвезли в больницу, выздоровел, а в следующем году снова заболел. Доктор сказал: «Теперь я знаю, что у тебя за болезнь», после чего брат ею уже никогда не болел.

В детском доме девочки и мальчики жили отдельно, младшие тоже отдельно. Зимой было очень

холодно, в коридоре топилась печка, и дети гуськом ходили по коридору, читали наизусть стихи или пели.

Весной надо было переправляться через Енисей на луга, туда перевозили и лошадей. Мы убирали сено, а трава была выше головы, и косы не такие, как в Латвии... Спали в палатках, жгли костер, и когда лошади начинали волноваться, хватали из костра горящее полено, бежали отгонять диких зверей... Каждую ночь... Страшно не было, нас целая ватага была. И еще там была страшная мошкара – одежда должна была быть пышной, не облегать, чтобы мошка не искусала. Это что-то страшное, эти насекомые.

Возле Туруханска ширина Енисея четыре или пять километров. Чтобы преодолеть течение, надо было сначала пройти на веслах вверх по Енисею, а потом течением сносило к Туруханску. Погода стояла хорошая, мы расселись в лодке, с нами были две учительницы, одна на руле. Мальчики сидели на веслах, и плыли мы против течения. Мы уже были почти на середине реки, как вдруг налетел ветер,

поднялись большие волны... Одна учительница так ловко управляла лодкой, а вторая, немка, от страха легла на дно. А было страшно: волны огромные, навстречу пароход, за волнами нас не видит. Я стала помогать брату грести. Хотели пристать к полуострову, но потом рискнули плыть до Туруханска. Когда вышли на берег, учительница землю целовала... Так это было.

И однажды воспитательница, жена офицера, мне сказала: «Ты поедешь на Родину». Речь шла о том, что детей, у которых нет родителей, увезут на Родину, но прошло еще немало времени, пока нас на пароходе привезли в Красноярск, и там в горах мы жили в школе для глухонемых.

Пришло время, и нас посадили в поезд. Вагоны уже были не товарные. Как же мы были счастливы, что возвращаемся на Родину! В Новосибирске я заболела, а в Омске меня сняли с поезда, хоть я и говорила, что у меня ничего не болит. Провела в больнице месяц, поправилась, а идти мне некуда. Была там какая-то учительница, сказала, что заберет меня к себе, но спустя время в больницу пришел офицер



Хермине (в третьем ряду третья слева) в Сибири

586 дети сибири

и произнес по-латышски: «Добрый день!». Я ему ответила по-русски: «Здравствуйте!». Он отвез меня к поезду, в вагоне был еще один офицер с семьей. Потом меня перевели в вагон к медсестрам... Поезд шел с Востока в Латвию, в нем было около 30 вагонов. Потом стало известно, что в нем ехали латышские мужчины, которых когда-то привезли в Россию – молодые и старые, больные и здоровые. Когда они пришли на перевязку, русские медсестры попросили меня помочь им зарегистрировать латышские фамилии.

Так я приехала в Ригу, и офицер спросил, куда я пойду и что собираюсь делать, но этого я как раз и не знала. Тогда он провел меня по всем вагонам, и один человек меня узнал — это был сосед по Λ абрагсу, я на его свадьбе мастерила торжественную свадебную арку, было мне тогда 10 лет. И я решила ехать домой, так как домой ехал и сосед. Когда вошли в вокзал, он сказал, что у меня нет билета, но меня впустили, и мы приехали в Λ иепаю. Потом вместе ехали в автобусе, когда я вышла, он спросил, не проводить ли меня, но я сказала, что дойду сама.

Подошла к дому, никого – пусто, тихо. Увидела на лугу мужчину, который перевязывал корову, – я узнала, это была наша корова, и мужчину я узнала – он был ростом под два метра. Он спросил: «Ты та, кого мы ждем?», на что я ответила: «Может быть...». Он подхватил меня на руки, занес в дом и посадил бабушке на колени: «Вот твоя девочка, которую ты ждала!» Так я вернулась домой, было это осенью 1946 года.

С тех пор, как в Елгаве исчез вагон, где был папа, мы о нем ничего больше не слышали, и нет больше никого, и до сего дня не знаем, что с ними со всеми случилось. Все они погибли. Я написала в Москву, не знаю, откуда смелость взялась. Прислали папин больничный лист, я его отдала младшему брату. Он живет в отцовском доме, старший брат живет в Риге, я живу в Лиепае. В больничном листе на латыни было написано – 100-процентная потеря веса, значит, страшно голодал... Была еще бумага, что осужден на 10 лет... Умер папа в 1943 году, и мамочка умерла в 1943 году, 4 августа, недалеко от Туруханска, в поселке Лебедево.



Сибирская изба. Рисунок

ВАЛДИС РУНЬГЕВИЦС

родился в 1930 году

Отец Янис, мать Катрина Дадзе, сестра Хермине, брат Албертс.

Мама умерла, так как врача не было, у нее был аппендицит, отравилась. Жило нас девять семей в большом помещении. Она чувствовала, что уходит. Это было в августе 1943 года. С сестрой вышли на берег Енисея. Пришел брат, говорит – мама умирает. Пошел посмотреть – мама умерла. Что делать? Стали советоваться, мне было 13 лет. Все умел – все практические дела. Мама другим помогала хоронить. Не хотел ни у кого просить помощи. Нужны были доски для гроба – содрали доски с крыши барака. Подошел мужчина с ружьем: «Что здесь делаете? Здесь будет бондарный цех. Ищите доски, Енисей вымыл!». Не было. Залез на крышу, пять досок снял. Нашел лопату, могилу вырыть. Гвозди достал в магазине. Вырыл могилу, сколотил гроб. Достал двуколку, поставили, приехали, попрощались, вернулись домой. Ни у кого ничего не просили. У мамы были золотые зубы, могилу с землей сравняли, чтобы вандалы не нашли.

Пошел как-то рыбачить, штук 10–15 поймал. Мама положила передо мной самую крупную рыбу, хлеба давали по 500 граммов. Денег не было, отдавали свои талоны за полцены. Мама была хлопотунья – ягоды собирала, грибы. Заготавливала на зиму.

В 1943 году снег выпал в ноябре. Брату было 11 лет, забирались в гору за дровами. Тропа была

протоптана. Несколько тропок в лесу было. Нашли поваленную ель, у которой сучья были уже срублены. Нарубил, понес домой, уже поселок виден, а тут начало мести. Пришел домой – брата нет. Вернулся, дошел до леса, стал осматриваться. Заметил вдалеке что-то

темное, подошел – торчит пень, брат скрючился, еще дышит. Стал растирать его снегом, тормошить, но он только хныкал. Взвалил на плечи, понес домой. Дома отогрели горячим чаем, укутали. Счастье было, мог ведь и замерзнуть, сколько оставалось.

Отец в семье был младшим сыном. В школу ходил недолго, зато много читал. У отца было 19 гектаров земли. Слишком он был открытым человеком.

14 июня забрали нас неожиданно. Вещей можно было брать столько, сколько сумеем унести. Что на скорую руку смогли, то и взяли. Отвезли на телеге в бесхозный дом к пограничникам. Там уже собрались люди, привезли мамину сестру, мою первую няньку. Приехали на станцию Калвене. Мужчин увели. И начался наш тернистый путь. Нары в обоих концах. В дороге кормили кашей.

Приехали за нами на лошадях, выбирали. Привезли в зерноводческий колхоз. Интересный рельеф, река. Разместили в конторе, начальник был цыган. Дали хлеба. Через улицу стояла изба на две комнаты. В одной разместились Авотиньши, мы, Руньгевицы, и мамина сестра, во втором помещении две женщины с детьми. Рядом была кузница, конюшня в плачевном состоянии. Через год привезли поволжских немцев, поселили рядом. Был клуб – длинное строение, была школа. В клубе ктото в кожаном фартуке уже шил. Рубили дрова для запуска трактора, весной чистили луга. Платили

мукой, денег не было. Хлеб был, грибы были, выживали.

Надо было уезжать дальше, оказались в Красноярске. Шли по улице, по хляби. Лил дождь, мама держала над нашими головами одеяло. За

14 июня забрали нас неожиданно. Вещей можно было брать столько, сколько сумеем унести. Что на скорую руку смогли, то и взяли.

забором был теплоузел, разрешили высушиться. Наутро были в порту, видели, как садится на воду самолет. Заболел, отвели к врачу. Мы, дети, уже говорили по-русски, мама не говорила. Важно было остаться в помещении, не на улице. В бараках было тесно. За стакан крупы мне разрешили переспать в бараке возле двери. Утром мне полегчало, я ушел. Снова приехали немцы. Они знали, что всех повезут на Север, насыпали зерно в мешки. Немцев обвинили в воровстве, когда приехали, зерно конфисковали. Подошел пароход «Орджоникидзе», поплыли вниз по течению. Оказались в Лебедево. Там было две реки. Работа была самая разная. Были ягоды и кедровые орехи, они нас и поддерживали. Черная смородина размером с вишню. Варили и солили селедочным рассолом грибы, случалась и рыба. Сдирали кору с ив.

В доме жил финн. Помещение было поделено: одна треть вход, большое помещение с печью посередине, дощатая, обмазанная глиной труба. У финна была семья – жена и дочка, родилась еще одна дочка. Все поражались. Девочка научилась говорить по-латышски. Был еще мальчик Эйно, восьми лет, у него были туфли, брюки и полупальто, на вате, с воротником. К финну в гости приходили две дородные финские женщины.

Жили мы в очень красивом месте, происходили там всякие чудеса. Двор был огорожен. Приехал с фронта раненый – нам пришлось дом покинуть. Жили там, где требовалась помощь.

Потом поселились с другой стороны печи, рядом с финном. Печь грела плохо, поставили железную печку. Стало теплее. Финские женщины работали, Эйно прилепился к нам, вшивые были донельзя, жарили одежду над огнем. Подселились еще семьи, народу было невидимо. Финн построил из бревен баню, землянку в рост человека. Там и жил.

Осенью там красиво, пошли в лес, но мама нас остановила – произошло несчастье. Наши ребята должны были уехать еще дальше на несколько недель. Семья Калейс – Элза у них была самая красивая. Брат уезжал, и все пошли провожать. По дороге нашли выброшенный на берег какой-то плод, похожий на свеклу. Порезали на дольки, чтобы отнести домой. Ели Екабс, Янис. Почувствовали неладное. Екабс понял – надо бежать к воде, стал пить воду, чтобы избавиться от съеденного. Элза

отстала, присела возле дерева и умерла. Вся деревня «лечилась», Янис тоже умер.

В деревне выращивали лис. Зиму пережили, ждали пароход, Эйно с собой взяли. Подошел пароход «Мария Ульянова». Приехали в Туруханск. Нас из деревни не отпускали. Нас было трое и финский парнишка. Не послушались, спрятались на пароходе. Пошли к капитану, попросили еды – едем в детский дом. Накормили супом. Плыли неделю, приехали в Туруханск. Представитель на катере подъехала к пароходу. Зашли в двухэтажный дом. Улица широкая, была средняя школа, клуб, стадион. У входа жила районная начальница с семьей сына. Раздели, теплая вода уже готова. Работали немки, две местных поварихи, директором был мужчина. Нас вымыли, дали чистую одежду, разделили по возрастным группам. Давали 500 граммов хлеба, горячую пищу. Сами заготавливали в лесу дрова, считались старшими. Были там финны, немцы, два грека. Никаких разногласий не было. Малыши свою норму не съедали. Рядом было футбольное поле.

Переправлялись через Енисей, была лошадь, собаки. Вернулся Аркадий с фронта, израненный, сын кастелянши. Она была могучая женщина – косила, я тоже научился. Жили каждый в своей группе. Сестра окончила шесть классов. Я во время первой ссылки только рисовал, когда мама умерла, в школу не ходил. В детском доме окончил шесть классов, как и сестра. Дома окончил 7-й класс, поступил в техникум. Пришло известие, что детей увозят на Родину. Дали нам воспитательницу, было нас человек 10, кто приехал в Красноярск. Дождались полного комплекта, приехали в Ригу. Сестра в Омске заболела корью, ее высадили, а мы поехали дальше. Язык она знала, ехали и освободившиеся латышские мужчины. Сестра поправилась, ехала с ними вместе.

В Латвии попали в детский дом в Пардаугаве, прошли карантин. Неделю лечился. Приехали мамины сестры.

Отец в латвийское время был айзсаргом. Умер в 1943 году. Нас признали репрессированными. Встретил человека, который был вместе с отцом. Что-то у отца было с желудком. Когда понял, что не выживет, просил передать привет жене и детям. Отец с матерью хотели уйти из жизни вместе, и это у них получилось.



АСТРИДА РУШКО

родилась в 1937 году

14 июня 1941 годы выслали моего отца Яниса Рушко, директора Наутренской средней школы, и маму, она была учительницей. Отец поехал за зарплатой для учителей и не вернулся. Помню – хаос, я иду рядом с мамой, держусь за руку...

Привезли нас на станцию в Лудзу. Из маминых рассказов было непонятно, был ли это обыск или ограбление той ночью. Я все время кричала, что хочу к окну и хочу котлету. У окна принялась кричать – папа, папа. Его вели под конвоем и не дали подойти к окну.

В Сибири мама ходила пилить лес, не умела, обморозила ноги. Жили впроголодь. Очистки мама варила себе, картошку нам. Мы, человек семь, ходили в школу в Заимку. Там были бараки, обычные для русских. Не знаю, сколько мы там жили, работали. Жили в бараке, большая комната, поделенная дощатой перегородкой. С одной стороны жила полька с дочерью, потом мы, в конце, возле дверей, еврейская семья.

Была плита, на которой готовили еду, были клопы, никогда не видела, чтобы клопы падали с потолка. Спали на одной кровати, мама посередине, потому что мы между собой дрались.

Рядом с бараком построили хлевушку. Там обитала наша корова. Утром или вечером мы приходили к ней греться, потому что мамы часто не было дома. Жила с нами мамаша Покуле, которая за нами присматривала. Была там эвакуированная финка

София, которая маму многому научила, разговаривала с нами. Советовала, как выжить в лесу. Летом были травы, луковицы лилии, называлась она саранка, мучнистые, можно было варить. Шла дорога из Канска в Красноярск, Иланск был как раз посередине. Как

будто степь, земля плодородная. Летом земляникой было все усыпано.

Собирали ягоды по дороге в школу. Дети ведь были голодные. Когда православные поминали своих родных, они приносили на кладбище еду, мы тоже приходили, и нас угощали. Ходили и на колхозные поля, стащим капусту, брюкву, потом делили. Было строго, даже колоски нельзя было подбирать. Как-то мама и финка пошли осенью в поле, тут же появилась охрана. У мамы был мешок с инициалами, она его бросила, сама убежала. Они потом долго дознавались, кому мешок мог принадлежать. И хотя люди знали, но не выдали. За колоски сажали в тюрьму.

Мама всем на удивление стала плести корзины, никто больше не умел. Обычные корзины, она окончила Елгавский учительский институт, а там большое внимание уделяли домоводству. Жить там было трудно. Поселок был в пяти километрах, город в двенадцати. Домов, вероятно, каких шесть, лошадей выращивали. Мама все время должна была отмечаться, потом и мне пришлось. Так что уехать не могла, только до Красноярска и то с разрешения коменданта.

Маме что-то на работе давали, татарин дал мне валенки, но они были большие. Валенки были сокровищем. Тетя прислала шерстяные носки. Вши были и там. Во время первой ссылки мама топила баню. Только воду носить надо было за два километра, колодца не было. Всю одежду про-

жаривали. Приходили и из других деревень...

Все знали, что у мамы есть папино пальто и костюм. Война шла к концу, кажется, это было начало 1944 года. И вот они понадобились

В Кирове были лагеря. Маму одна хотела там заколоть, у мамы были золотые часы еще с довоенных времен, так та подползла ночью и хотела заколоть...

железнодорожнику. И за них семья его заплатила коровой, у них было две коровы. Так мама вернулась домой с Варей. Красивая черно-белая корова, предводительница на пастбище, все понимала, только не разговаривала. Эта корова нас и вытянула. Самая страшная была зима 1941 года, когда не было ничего. И 1942-й тоже, ни огорода своего не было, не знали, как жить. Давали по норме, жили в бараках.

Потом серьезно заболела сестра. Она всегда была такая активная, отлично училась. А тут заболела ангиной, осложнение на сердце. Кто-то из латышей помог устроить ее в больницу, в Енисейске, потом она долго лежала в Красноярской больнице.

Помню день, когда кончилась война. Приехали из Иланска, долго колотили в рельсу. Вот тогда и узнали, что война кончилась.

В Заимке выращивали огурцы. Маме поручили засолку. Весной ходили выковыривать замерзшую картошку, пекли лепешки. Очень вкусно. А если в суп из крапивы добавить картошку и черемшу, то тоже было вкусно.

Была такая мамаша Пакуле, жила в Иланске. Мама всегда у них останавливалась. После войны приехал политрук, сказал — уезжайте домой. В 1947 году поехали в Латвию, дорога была трудная. Ночью в Челябинске пропала мама. Ее забрали. Украинец пошел в комендатуру, сказал, что это его семья, вызволил, так мы вернулись в Видрижи.

Мама работала в Видрижи в детском доме. Мы ходили в Игатскую школу. Мама могла уже работать музыкальным преподавателем в Видрижской школе. Руководила хором, участвовала в праздниках песни. В Саулкрасти она заметила, что за ней следят. И в августе ее арестовали. Это было в 1950 году. Нас забрали, и мама сказала прохожему, кто мы, где живем, куда нас везут, и попросила рассказать об этом сестре мужа.

Укомплектовали в Риге и повезли в арестантском вагоне. Охраняли с винтовками. Если в то время работал учителем, надо было подписаться на сочинения Ленина и Сталина. Когда нас брали, сказали, что книги эти нам пригодятся. Связали их в пачки, и мы потащили их с собой. Везли не через



Сестры Вита (слева) и Астрида

дети сибири 591

Москву, сразу из Центральной тюрьмы в Ленинград, оттуда в Киров, Свердловск, Новосибирск, Красноярск. Мы ехали, видели, что дети уже пошли в школу, а мы все ехали и ехали...

В Кирове были лагеря. Маму одна хотела там заколоть, у мамы были золотые часы еще с довоенных времен, так та подползла ночью и хотела заколоть, но мама проснулась и стала кричать, и женщину эту из нашей камеры увели. Везли нас с настоящими преступниками.

В Красноярске были долго, мама добивалась, чтобы нас послали туда, где есть школа. И ей это удалось. Маклаково расположено в 400 километрах вниз по Енисею, там была средняя школа, много народу работало на лесопильном заводе. Там были и те, кого освобождали из лагерей, кого не расстреляли. Были и осужденные, могли проиграть в карты человека, идущего по улице. Так убили маму моего одноклассника. Только директор и местные были вольные, но они занимались охотой и рыболовством. Работа на лесопилке была тяжелая, надо было на транспортер укладывать тяжеленные бревна. Летом я тоже работала, подсчитывала кубометры. Мама работала бракером, литовцы взяли ее в свою бригаду, она отбраковывала доски, переворачивала их, но потом заболела и ей дали инвалидность.

Литовцы своих детей в русские школы не отправляли. У меня была подружка литовка, такая Геня, должна была ходить в 10-й класс, училась в 6-м. Я ездила поступать в Красноярск в лесной техникум. Но меня не приняли, сказали, что не так хорошо сдала экзамены. Ходила в радио-, в электротехникум, никуда не приняли. Наконец в пищевом техникуме сказали, что возьмут учиться на кондитера, а когда пришла, сказали, что все места уже укомплектованы.

Я решила, что пойду к главному начальнику КГБ, который может разрешить. Но внутрь меня не пустили. И тут в конце коридора открылась дверь, все выстроились, когда там кончилось собрание, ждали, когда он выйдет, и я влетела в кабинет, никто и опомниться не успел, подбежала к столу и, рыдая, бросила на стол документы и стала рассказывать, что я враг народа, что мне не разрешают учиться. Он долго на меня смотрел, немолодой человек уже, потом вытащил синий листочек и нарисовал маршрут – я могу ехать.

Маме в это время уже дали инвалидность, она просила, чтобы ей дали возможность работать в городе. Коменданта замещал молодой человек, документов найти не мог. Наконец нашел, отложил в сто-

рону. Давно надо было освободить тех, у кого есть дети. А так как не хватало рабочей силы, тянули. И в августе 1956 года мама с сестрой приехали в Латвию, я вернулась в январе 1957 года. Спасибо надо сказать маминому брату, сестрам. В Латгалию ехать было невозможно. А они приняли нас радушно, помогли. Но вокруг отношение было недружественное, надо было понимать, что ты не из их среды.

Я еще поехала в Москву учиться... Ездила три раза, никто на меня не обращал внимания, все ходили, бегали, газеты просматривали. Думала, экзамены не сдам. Но выдержала и окончила институт технологии пищевой промышленности.

Мама интересовалась судьбой отца? Интересовалась. Вначале пришла бумага, что погиб в Красной армии. Когда нас выслали, Петерис и Анна из Смилтене рассказывали, что была такая ситуация – впереди русские, сзади немцы. Потом маме написали, что отец в лагере заболел и в декабре 1942 года умер в Кирове.

А как жилось вам в Латвии? Когда я приехала, устроилась работать на Цесисский пивоваренный завод, должность у меня была небольшая. В Цесисе организовали экскурсионное бюро. Можно было работать экскурсоводом, за это платили. Пришли на завод, спросили, не хочу ли я работать директором бюро по туризму. Зарплата была небольшая, но завод мне надоел, я согласилась, так и возникло это бюро. Был там такой секретарь Роде, все говорил, что если бы у меня биография была получше, могла бы я работать заведующей отделом учета в партийном комитете. Зарплаты там были хорошие, отпуск, санаторий бесплатный. Но так как я не стремилась к большим должностям, мне биография не мешала. В конце 1986 года меня пригласил Гаврилов на «Алдарис», там я и работала.

Когда мама приехала из Сибири, ей надо было сдавать экзамены. Помню, надо было все журналы «Карогс» прочитать, сдать экзамен. Сдала, получила право работать учителем, не в Цесисе. У меня в Цесисе была комнатка, она ездила в Лиепу, в школу. Потом работала в охране, умерла мама в 1990 году.

Хотелось бы, чтобы люди, которые пострадали, чувствовали, понимали, что пострадали ни за что. Мой отец говорил, что ничего плохого своей стране не сделал, не делает и не сделает, где бы он ни оказался. Мама рассказывала, что в 1941 году, когда входила армия, отец стоял в школьном дворе, был ясный день, только на горизонте чернота и шум. Отец сказал, что на этом наша жизнь закончится.

592 дети Сибири



Астрида с бабушкой Брониславой. Латвия



ВИТА РУШКО

родилась в 1940 году

Я родилась 21 мая 1940 года. Отец был первым директором Наутренской школы, мама учительница. Первый раз нас вывезли 14 июня 1941 года.

Брали нас отдельно. Отец был в командировке, взяли маму с двумя детьми. Все это хорошо помнит сестра. Зашли русские солдаты, наступили на ее куклу. Мама в этой суматохе схватила детей, больше ничего. Была такая матушка Пакуле, у нее в Латгалии были рысаки, она сказала маме: «На юг нас не повезут, сходи, девочка, попроси, чтобы разрешили тебе взять хоть какую одежду». Мама взяла, что было. Главное – взяла национальный костюм. Может быть, еще какие-то вещи.

Погрузили нас в вагон. Сестра рассказывала, что видела отца, когда солдаты погнали его за водой. Она стала стучать в оконную решетку, отец увидел. Мужчины ехали в отдельном вагоне.

Нас привезли в Красноярск, в Иланский район. Там сортировали, но маму с двумя детьми брать не хотели. Кто-то попал на крупный завод, а мы в Леспромхоз. Не помню, кто там был еще, но мы жили в бараках, все вместе – в строении, похожем на сенной сарай, только по обеим сторонам отдельные помещения. Мама работала в лесу, мы сидели дома. Туалет, не помню, куда ходили...

Не помню, что ели. Помню, что позже мама купила корову. Зимой морозили молоко, мама возила его за 17 километров в Иланск.

Когда нас вывезли, мне был всего год; я, вероят-

но, была умным ребенком – уже ходила и разговаривала, но когда привезли туда, перестала и ходить, и разговаривать. Мама закутала меня и отнесла к врачу. Мама рассказывала, что докторша была молодая, красивая. Не знаю, на каком языке они разговаривали. После

приема докторша сходила домой и принесла маме килограмм риса. Я думаю, это был подвиг в те времена — отказать себе и отдать нам. И мама понесла меня обратно эти 17 километров. Мы выжили.

Летом мы «паслись» в тайге, чего там только не росло – черная смородина, земляника, черемша, луковицы лилий, мы их запекали и ели. Мучнистые, сладкие, но не очень вкусные.

Весной можно было подбирать гнилую картошку, пекли, сладкая была до противного. Сестра пошла там в 1-й класс, я тоже должна была идти в школу. В школе мне не нравился учитель физкультуры, он заставлял меня перепрыгивать через канавку, а я про себя думала — ну зачем он заставляет меня делать такие глупости. В школу ходила босиком. Мама где-то достала сапоги, но они были такие тяжелые, что я их связывала и несла домой. Иногда в лужах ловила сапогами рыбешку.

Однажды мы подожгли тайгу. Нравился огонь. Когда пришли домой, увидели, что все роют перед домами канавы, тут мы, конечно, испугались, но не признались ни кто поджег, ни где достали спички.

В 1947 году сбежали в Латвию. Парторг совхоза помог купить билеты. Он пришел с войны, одну руку потерял. Сказал: «Если тебя поймают, ты меня не знаешь, я тебя тоже!». Надо было воспользоваться ситуацией — с востока шли военные эшелоны. У мамы и у сестры были билеты, у меня билета не было. Когда приходил контроль, меня засовывали в багажный ящик под полкой. Сидеть надо было

тихо, как мышке. Помню эпизод, случилось это, кажется, в Свердловске. Стоящий рядом мужчина сказал, что у него на Украине погибли жена и две такие же девочки... И он провел нас в зал. В зал для военных. Там

Когда нас вывезли,
мне был всего год;
я, вероятно, была
умным ребенком –
уже ходила и
разговаривала, но
когда привезли туда,
перестала и ходить,
и разговаривать.

впервые я увидела электрическую лампочку, и мне показалось, что я во дворце. Он купил нам петушков на палочке. Кажется, он и потом помог маме достать билеты, потом предложил маме руку и сердце. Так мы попали в Латвию.

Думаю, это было в Инчукалнсе, была поздняя осень, лил дождь, мама звонила, просила нас встретить.

Когда мама приехала в Латвию, она дирижировала сельским хором. Пожили в Латвии, и в 1950 году после Праздника песни утром нас забрали. За это время мама успела поработать учительницей в Видрижской школе, в детском доме. Документы у нее были.

Вторую ссылку помню до мелочей – как отвезли нас в Центральную тюрьму. У нас и на сей раз ничего не было. Мама купила корову, но из одежды ничего. Единственное, что мама спросила у старшего по званию – надо ли брать с собой сочинения Ленина и Сталина... Как учительнице – они для нее были обязательными. Мама увязала какие-то тома, потом-то я их сожгла, а тогда мы с сестрой как ненормальные таскали эти пачки через все тюрьмы. Мама даже зашила книги в простыни. Была и какая-то художественная литература, но все это я вспоминаю как бред. А так как нас не отделяли от заключенных, то и возили в столыпинских вагонах по всем тюрьмам.

Из Рижской Центральной тюрьмы, где сидели в общей камере, нас перевезли в ленинградские «Кресты». Эти лестницы я помню до сих пор. Детям разрешали бегать по коридору.

Мне кажется, что сестра боялась замкнутых помещений, и, когда нас загоняли в «Черную Берту», она села только после того, как конвойный подтолкнул ее автоматом.

В эшелоне наш вагон был в хвосте. Из трубы паровоза шел черный удушливый дым, летела сажа. Выводили нас в сопровождении конвоя с собаками. Однажды прозвучала команда – встать на колени! Подумала – ну как можно встать на колени в грязную лужу? Женщины сказали – вставай!

Помню, что заключенные женщины рожали в бане. Мама стерегла нас как курица цыплят. Когда ходили в баню, конвойные охраняли и голых женщин. Мама нас всегда собой прикрывала.

Взяли нас в июле, а на место привезли нас только в конце октября.

Помню, что в дороге все время давали селедку. Теперь-то я понимаю – никто не просился в туалет,



Вита. Сибирь

ведь воды не давали. Лежать в поезде негде было, только сидеть. Однажды у меня сильно заболел живот. Мама обратилась к женщине с просьбой поделиться водой. Это оказалась двоюродная сестра латышского писателя, она сказала: «Нас же двое!». Мама посмотрела – женщина эта, пусть земля будет ей пухом, была в положении.

Привезли нас в Красноярскую тюрьму. У сестры разболелся зуб, щека распухла; мама долго стучала в дверь, вызывала охрану. Вошел охранник, сказал, чтобы ждала до утра. Утром вошла докторша, посмотрела, сказала: «Что поделаешь!». Мне кажется, у сестры зубной нерв от боли омертвел, зуб перестал болеть. В Красноярске у мамы спросили, куда она хочет – на север или на юг, на что мама ответила, что ей все равно, лишь бы была школа. И отправили нас в большое село Маклаково, Енисейского района. Повезли в районный центр, оттуда на барже вместе с заключенными. Посадили в трюм, без воздуха, без света, и заключенные сказали, что перебьют всю охрану, если детей не выпустят гулять на палубу. Нас выпустили, и я увидела, какая красивая река, какие красивые берега. У каждого люка, ведущего в трюм, стояла вооруженная охрана.

Высадили в Енисейске, и я автоматически заложила руки за спину, потому что до сих пор нас только так и водили. А сестра говорит: «Ну, ты, Вита, и вправду дура, не видишь, что никого нет, убери руки из-за спины!»

Погрузили снова в кузов, отвезли в Маклаково. Мама пошла работать на лесопильный завод, где

заготавливали на экспорт пиломатериалы. Штабеля бревен огромные, если смотреть снизу, человек наверху казался пуговицей. Мама стояла на самом верху, на ней были какие-то белые брюки, надевать нечего было.

Была там средняя школа, очень хорошие преподаватели. На уроках немецкого языка учитель ни слова не говорил по-русски. Сестра говорила, что знаний немецкого, полученных в школе, ей потом хватило и в техникуме, и в институте. Преподаватели были из Ленинграда.

Но случилось несчастье – в 14 лет я заболела. Был ноябрь. Я была отличницей, очень активной ученицей, во всех мероприятиях участвовала. И проболела до марта. Сейчас я знаю, что у меня был септический эндокардит, редко кто выживал с таким диагнозом. Профессор Рудзитис в нем не сомневался. Мама каким-то образом достала пенициллин, что-то продала. Я не шевелилась, подняться не было сил, и еды не было. Мама была в отчаянии, сказала, что на работу не пойдет, что мы умрем обе.

Сестра продолжала учиться, окончила среднюю школу. Дали ей путевку, и поступила она в Новочер-касский пищевой техникум. Каждый месяц ходила отмечаться. Надоела им настолько, что на нее прикрикнули – вы что сюда каждый месяц являетесь? Хватит ходить.

Помог сестре мамин брат, тоже учитель. Было это после смерти Сталина, стал присылать деньги. И мамина сестра помогала – в декабре присылала кастрюли с топленым жиром, свиными шкурками. В школе мы считались привилегированными – у нас были тетрадки, были словари. Сейчас никто не может понять – как это не на чем писать? А у нас тогда были карандаши, тетради по черчению, чертежные принадлежности. Все это присылал мамин брат.

Когда я заболела, в больницу отвезли только в мае – нельзя было транспортировать. Когда привезли, врачиха сказала, что мест нет, уезжайте обратно. Мама пошла к главврачу. На направлении было по латыни написано Cito! – срочно! Так мне это слово и запомнилось. Врач оказалась очень симпатичная, и хоть было мне 15 лет, я была рослая, и она поло-



Вита с матерью Анной. Сибирь

жила меня в палату к взрослым. Женщины были очень приветливые. В больнице я научилась вышивать крестиком, стала даже зарабатывать. Была там еще одна девочка после операции, и однажды мы с ней заработали 20 яиц. Что с ними делать, не знали, решили сварить, варили минут 30.

В больницу забирать меня приехала мама, привез ее главный инженер завода Янис Стрейпс. Мама привезла мне пальто, над которым он долго смеялся — так я за это время выросла. Мама меня не видела четыре месяца, увидела и ужаснулась — кожа да кости. А пальто приехало с нами в Латвию.

Дома, когда я в марте пришла в себя, научилась делать искусственные цветы, вернее, научила меня Инесе, дочка Майи Луксы. Классная руководительница приходила к нам и всегда купит или розу, или нарцисс, и другим рекомендовала. Помню. пришла Нина Николаевна, спросила – что с Витой будем делать? Я могу ей поставить по всем предметам тройки, но она же обидится. Не лучше ли оставить на второй год? Так и осталась я на второй год.

В августе привезли меня домой, и снова нужна была операция — вырезать миндалины. Отвезли за 300 километров в Красноярск. Была со мной и мама. Она водила меня в музей Сурикова, многое показала. Вернулась я в поселок и продолжала учиться. Окончила только семилетку.

Папин брат прислал деньги, если бы не он, мы бы в Латвию приехать не смогли. Вернулись в 1956 году. Здесь у нас ничего не было, не было места, к которому мы были бы привязаны. Мама уехала к своей маме в Видрижи. Сестра окончила техникум, после распределения уехала в Цесис, на пивоваренный завод. Дальше «тянула» сестра. Мама сдала экзамены, работала в Лиепской школе.

В Латвии труднее всех пришлось сестре – училась она то на латышском языке, то на русском. Маме со мной тоже было непросто. В Латвию мы приехали в октябре-ноябре, сестра была круглой отличницей, а я круглой «двоечницей». Было это в 1947 году.

Сестра поступила в Московский технологический институт, в Латвии ее не принимали, в Елгаве отказали. Отказали и в Университете. Сестре нравилась химия. Не знаю, почему, вероятно, из-за биографии. И в Красноярске не смогла поступить. Потому и поступила в Черкасский техникум пищевой промышленности.

Я в Латвии училась и в Лимбажи, и во 2-й Цесисской средней школе. Когда вернулись в Латвию, и болезнь вернулась, никуда не исчезла. Попала к профессору Рудзитису, мама должна была произнести пароль «сидела вместе с профессором нейрохирургом». В больницу нас устроила Ариадна Саксе, она сказала маме: «Анна, придешь, скажи, что твой Янис сидел вместе с нейрохирургом». Мама сначала отказывалась, говорила, что она этого не знает, но набралась смелости, пошла и сказала. Так я попала в Республиканскую больницу к профессору Рудзитису.

Об отце ничего не знаю. В 1942-м или в 1943 году прислали справку, срок – восемь лет. Основная мотивация – приобрел для школы пианино и еще что-то. Я думаю, шла война, мясорубка, он в нее и попал. Мама каким-то удивительным образом получала на нас пособие за погибшего на войне. Потом мама получила записку, что отец умер от цинги, потом были сведения, что его расстреляли.

Между собой с сестрой говорили по-русски. С мамой могла переброситься по-латышски.

Ненависти у меня нет. Я даже больше когда-то сказала – если бы я была завоевателем, я бы тоже всех выслала. Сказала в свои 17 лет, максималистка. Наша дружба и распалась, я только сейчас понимаю, что сказала. «Поблагодарить» надо наших же братьев латышей. Мама достала список. Она знала, кто составил список. Встретилась в Наутренской школе с этим человеком. Ах, как он нахваливал Яниса Рушко, какой был человек. Мама слушала, но ни слова не произнесла. Я маме говорю, чтобы встала, сказала, что Яниса Рушко нет больше на свете, но дети его живы. Этот человек продал латышей русским, русских - немцам, и наоборот. Ненависти во мне нет. Я думаю – образование я получила. Единственное, что я бы хотела сказать, - женщинам, которые сражались за жизнь своих детей, которые дали им образование, надо воздвигнуть памятник. Всем, но им особенно. Мама, человек с образованием, выполняла тяжелую физическую работу на заводе... Кто этот путь не прошел, тому трудно судить об этом. Есть у меня документ об отце. Его реабилитировали еще в русское время. Мама добилась реабилитации отца и всех нас.

У нас есть фотография отца, они остались в квартире после первой ссылки. Когда на следующий день приехал папин брат, в квартире были только фотографии – на полу. Все вещички латыши к рукам прибрали.

Мы с сестрой читали переписку родителей – они советовались, какую гувернантку брать – англичанку или француженку... Интересно. Мы положили это письмо маме в гроб...

дети Сибири 597